

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ



Настоящее чудо Рождества



Святочные рассказы

Настоящее чудо Рождества



Издательство АСТ
Москва

УДК 394.262.5
ББК 84(2=411.2)
С25

С25 Святочные рассказы. Настоящее чудо Рождества. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 128 с.: — (Новогоднее чудо).

ISBN 978-5-17-150554-7

В этой книге собраны лучшие святочные рассказы и стихотворения русских писателей (И.Шмелева, А. Куприна, Н. Лескова, А. Блока, Саши Черного и других), посвящённые чудесному празднику — Рождеству. Прежде всего эти истории передают светлую и уютную атмосферу семейного торжества. Помогают понять, что настоящее чудо всегда прячется в нас самих. В новогодние праздники и на Рождество, мы, как никогда, можем прочувствовать это и поделиться чудом с другими.

УДК 394.262.5
ББК 84(2=411.2)

Серия «Новогоднее чудо»
Литературно-художественное издание
Әдеби-көркем басылым
Для широкого круга читателей
Оқырмандардың кең ауқымына арналған

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО РОЖДЕСТВА

Дизайн обложки *В. Никandroва*
Заведующий редакцией *Н. Кузнецова*
Ответственный редактор *Д. Лихачёв*
Технический редактор *Н. Чернышёва*
Дизайн и верстка блока *Е. Гаврилова*

В оформлении издания использованы открытки
из коллекции Владимира Борисовича Лебедева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008) — 58.11.1 — книги, брошюры печатные.

Произведено в Российской Федерации
Подписано в печать 17.07.2023. Дата изготовления август 2023 г.
Формат 84х108/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура PT Serif.
Усл. печ. л. 13,44. Тираж 2000 экз. Заказ №

Изготовитель: **ООО «Издательство АСТ»**
129085, Российская Федерация, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru
Интернет-магазин: book24.ru

Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь!
<https://vk.com/ast.deti>; <https://t.me/ast.deti>; <https://zen.yandex.ru/astdeti>

«АСТ баспасы» ЖШҚ
129085, Мәскеу қ., Жұлдызды гулзао, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз : www.ast.ru E-mail: ask@ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан и представитель по приему претензий в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.
Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл —
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ.,
Домбровский көш., 3«а», Б литері, офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Таяр белгісі: «АСТ». Өндірілген жылы: 2023. Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.



ISBN 978-5-17-150554-7

© Shutterstock, Inc., 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

И. С. Шмелев

Рождество

(из книги «Лето Господне»)

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего — подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у нас, пова-лит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все зава-лит. На улицах — сугробы, все бело. На крышах, на за-борах, на фонарях — вот сколько снегу! С крыш сви-сает. Висит — и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгре-бай — увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз, визжат полозья. Зато весной, услышишь первые колеса... — вот радость!..





Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженных свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженные свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком запорошило.



А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, — «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой... — ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелькой. А на вкус, брат!..



Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупают красного товара, ситцу, — и домой, чугушкой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там лошадьми торговали, — стон стоит. А площадь эта... — как бы тебе сказать?... — да просторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает... — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разгвейся! Перед свининой — поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины... Богато жили.






Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчает. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадетсЯ, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..





В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то! Морозный, гулкий, — прямо, серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... — гул и гул.




Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из бара-
на, шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь —
певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осы-
плет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает
тонко-тонко. По улице — сугробы, горы. В окошках ро-
зовые огоньки лампадок. А воздух... — синий, серебрится
пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — бе-
лые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столба-
ми, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, — ply-
вет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит
Бога в вышних, — Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-мо-
литву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... —
и почему-то видится кровать, звезды.

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия миру Свет Разума...*




Съ Праздникомъ
Рождества Христова



И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жметя. За мерзлым стеклышком — знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.





Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездой путешество-эствуют!...»







Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, — думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься... Видишь — кормушка, с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот, подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну, конечно, рады.



Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру — «Бушуйка!». Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полизет руку, будто скажет: да, Рождество. И — на душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедem... Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет — «выкормочек мой... растешь»... Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:



И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех кулышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле — оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто... А завтра!..



А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклахросло буграми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сапожники, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.


— «Волхи же со Звездой питушествуют!» — весело говорит Зола.



*Волхов приючайте,
Святое встречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет...*

Он взмахивает черным пальцем и начинают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же наш.



Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое приставление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!

Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.


— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:



*Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь — Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!*





Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладывают — не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечером спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крикают.


Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

— Береги шубы! — кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уже и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье... — должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.



Святки. Птицы Божьи

(из книги «Лето Господне»)



И. С. Шмелев

Рождество...

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —

*Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите! —*

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розовой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.

В детстве таким явилось — и осталось.



Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы... а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.

— А где они живут? — спрашиваю я няню.

— За окнами.

За окнами... За окнами — чернота и снег.

— А почему у кормилицы сын мошенник?



— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

— А завтра они придут?

— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защемило пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрип-скрип-скрип. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегая в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей... — после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая борода торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

— Пискун ты, Пискун... пропащая твоя головушка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.

— А Пискун кто? — спрашивал я у няни.

— Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, — он охотно дает пощупать, — стянут натуго ремешком, — «так, для тепла пристроил!» — похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».



— Какой Антон?

— А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».

Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на покой.

Дальше — бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полосы с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой — розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полосы. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек.

— Чего уж убиваться-то так, нехорошо... праздник такой!.. — жалеет ее кухарка. — Господь милостив, не оставит.



Мужа у ней задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:

— Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав, — а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да... Вон, руки нет, а... сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.

Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.

Все больше и больше их. Разные старички, старушки, — подходят и подходят. Заглядывает порой Василь-Василич, справляется:

— Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут... десять, пятнадцать... осьмнадцать душ, так.

— Зачем — по-мер! — говорит Семен. — Его племянник в деревню выписал, трактир открыл... для порядку выписал.



Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует — «выдувает нечистого»? Глаза у него, рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:

— Что-о, жрать пришли?! А крещение огнем примаете?.. Сказал Бог нечестивым: «извергну нечистоту и попалю!» Вззы!.. — взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке.

Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится:

— Ох, милостивец... чегой-то скажет!..



— Не скажу! — кричит на нее монах. — Где твои пироги?

— Сейчас скажет, гляди-ка, — говорит, толкая меня, Семен.

Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим — за печку и кричит неподобным голосом:

— Будут пироги — на всех будут сапоги! Аминь.

Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушиному.

— Кури-коко тата, я сирота, я сирота!..

Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку, — «с морозцу-то, Леня, промахни!» Монах и бутылку крестит. И все довольны. Слышу — шепчут между собой:

— Ласковый нонче, угощение сразу принял... К благополучию, знать. У кого не примет — то ли хозяину помереть, то ли еще чего.

— А поросятина где? — страшно кричит монах. — Я пощусь-пощусь да и отошусь! Думаете, чего... судачи ваши святей, что ли, поросятины? Одна загадка. Апостол Петр и змею, и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете — ничего и не понимаете. Бззы!..

И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками. Вбегает Василь-Василич:

— Опять Леня пожаловал? Я тебе раз сказал!.. — грозит он монаху пальцем, — духу чтоб твоего не было на дворе!..

— Я не на дворе, а на еловой коре! — крестит его монах, — а завтра буду на горе!

— Опять в «Титах» будешь, как намедни... отсидел три месяца?

— И сидел, да не поседел, а ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в книгах! — ерзая, говорит монах. — Христос ныне рождается на муки... и в темницу возьмут, и на Кресте разопнут, и в третий день воскреснет!

— Что уж, Василь-Василич, человека утеснять... — говорит Семен, — каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как свайщика Игната придавило, за неосторожность. Так и каждому.

— Наверх лучше не доступай! — говорит Василь-Василич, — все равно до хозяина не допущу, терпеть не может шатунов.

— Это уж как Господь дозволит, а ты против Его воли... вззы! — говорит монах. — Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок!

Василь-Василич сердито машет и уходит. И все довольны.

Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица-румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. Почему она все плачет? Рассказывает — и плачет-причитает. Что у ней сын мошенник? И кто-то «пачпорта не дает», а ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют:

— Ты, Настюша, прошение строгое напиши и к губернатору самому подай... так не годится утеснять, хошь муж-размуж!



Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит:

— Репка, не люби крепка! Смой грехи, смой грехи!..

Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону.

— Да что ты, батюшка... да какие же я грехи..?

— У всех грехи... У кого ку-рочки, а у тебя пе-тухи-и!..

Кормилица бледнеет. Кухарка вскрикивает — ах, батюшки! и падает головою в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой.

— Для Христова Праздника — всем прощенье! — благословляет монах всю кухню.

И все довольны.

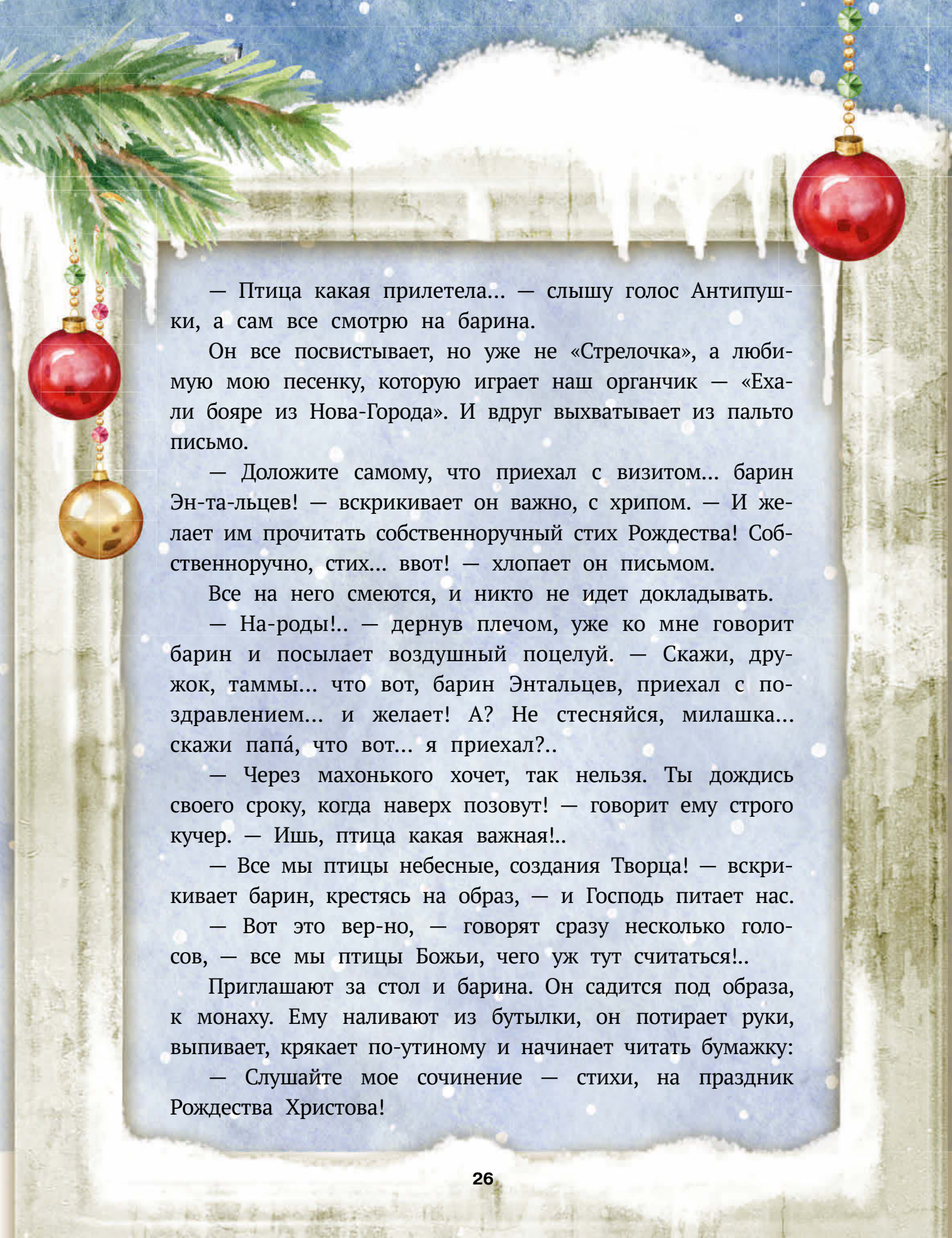
Скрипит промерзшая дверь, и входит человек, которого называют «Подбитый Барин». Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает, и видно ситцевую под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем с порванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые — прюнелевые, для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ерзают там с мороза. Барин глядит свысока на кухню, потягивает, морщась, носом, ежится вдруг и начинает быстро крутить ладонями.

— Вввахх... хха-хаа... — всхрипывает он, я слышу, и начинает с удушьем кашлять. — Ммарроз... вввахх-хха-хха!..

Прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать «Стрелочка». Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза.

— Свистать-то, будто, и не годится, барин... чай, у нас образа висят! — говорит укоризненно Марьюшка.





— Птица какая прилетела... — слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина.

Он все посвистывает, но уже не «Стрелочка», а любимую мою песенку, которую играет наш органчик — «Ехали бояре из Нова-Города». И вдруг выхватывает из пальто письмо.

— Доложите самому, что приехал с визитом... барин Эн-та-льцев! — вскрикивает он важно, с хрипом. — И желает им прочитать собственноручный стих Рождества! Собственноручно, стих... ввот! — хлопает он письмом.

Все на него смеются, и никто не идет докладывать.

— На-роды!.. — дернув плечом, уже ко мне говорит барин и посылает воздушный поцелуй. — Скажи, дружок, таммы... что вот, барин Энтальцев, приехал с поздравлением... и желает! А? Не стесняйся, милашка... скажи папá, что вот... я приехал?..

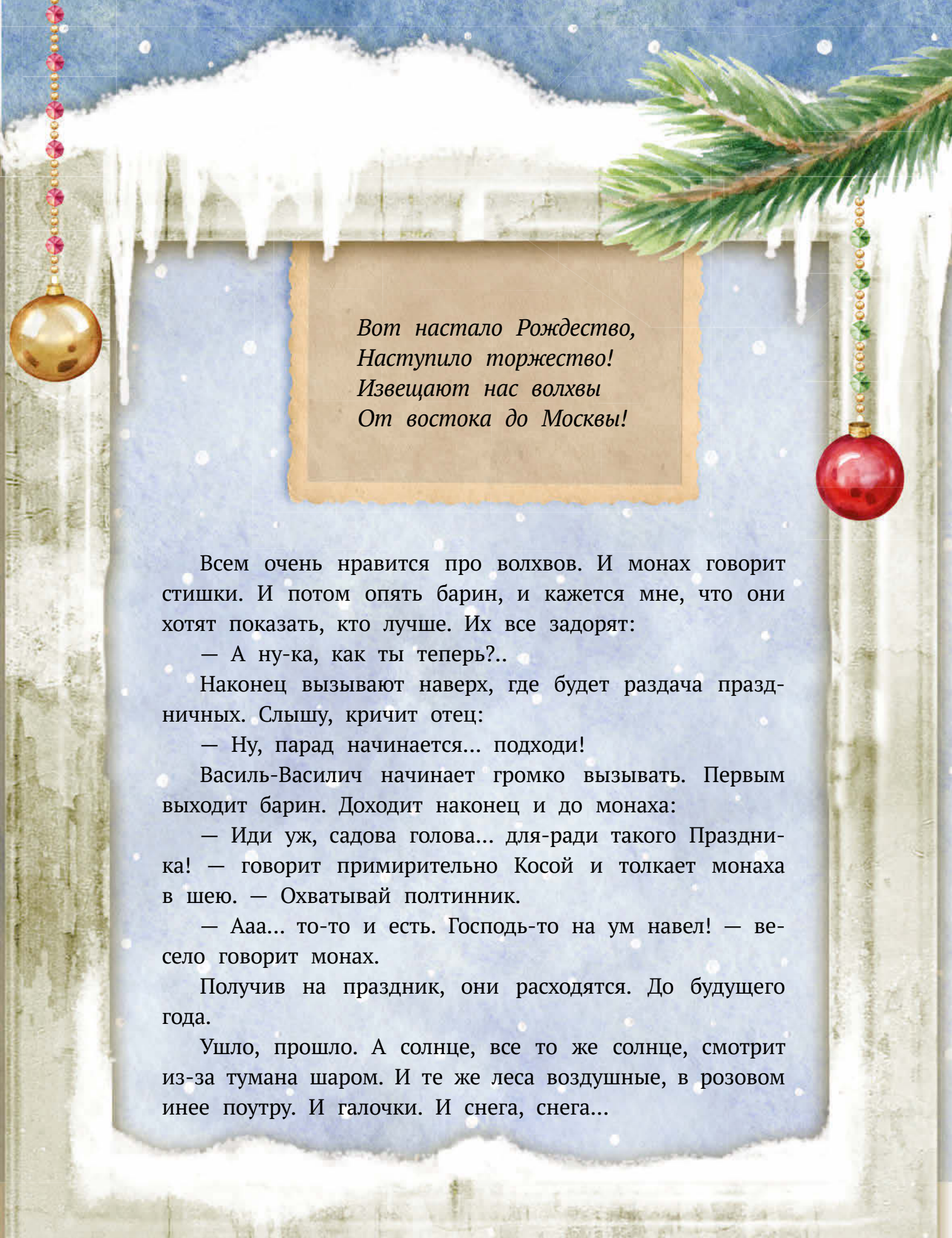
— Через махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего срока, когда наверх позовут! — говорит ему строго кучер. — Ишь, птица какая важная!..

— Все мы птицы небесные, создания Творца! — вскрикивает барин, крестясь на образ, — и Господь питает нас.

— Вот это вер-но, — говорят сразу несколько голосов, — все мы птицы Божьи, чего уж тут считаться!..

Приглашают за стол и барина. Он садится под образа, к монаху. Ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крикает по-утиному и начинает читать бумажку:

— Слушайте мое сочинение — стихи, на праздник Рождества Христова!



*Вот настало Рождество,
Наступило торжество!
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы!*

Всем очень нравится про волхвов. И монахи говорят стишки. И потом опять барин, и кажется мне, что они хотят показать, кто лучше. Их все задорят:

— А ну-ка, как ты теперь?..

Наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных. Слышу, кричит отец:

— Ну, парад начинается... подходи!

Василь-Василич начинает громко вызывать. Первым выходит барин. Доходит наконец и до монаха:

— Иди уж, садовая голова... для-ради такого Праздника! — говорит примирительно Косой и толкает монаха в шею. — Охватывай полтинник.

— Ааа... то-то и есть. Господь-то на ум навел! — весело говорит монах.

Получив на праздник, они расходятся. До будущего года.

Ушло, прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шаром. И те же леса воздушные, в розовом инее поутру. И галочки. И снега, снега...

А. А. Фет

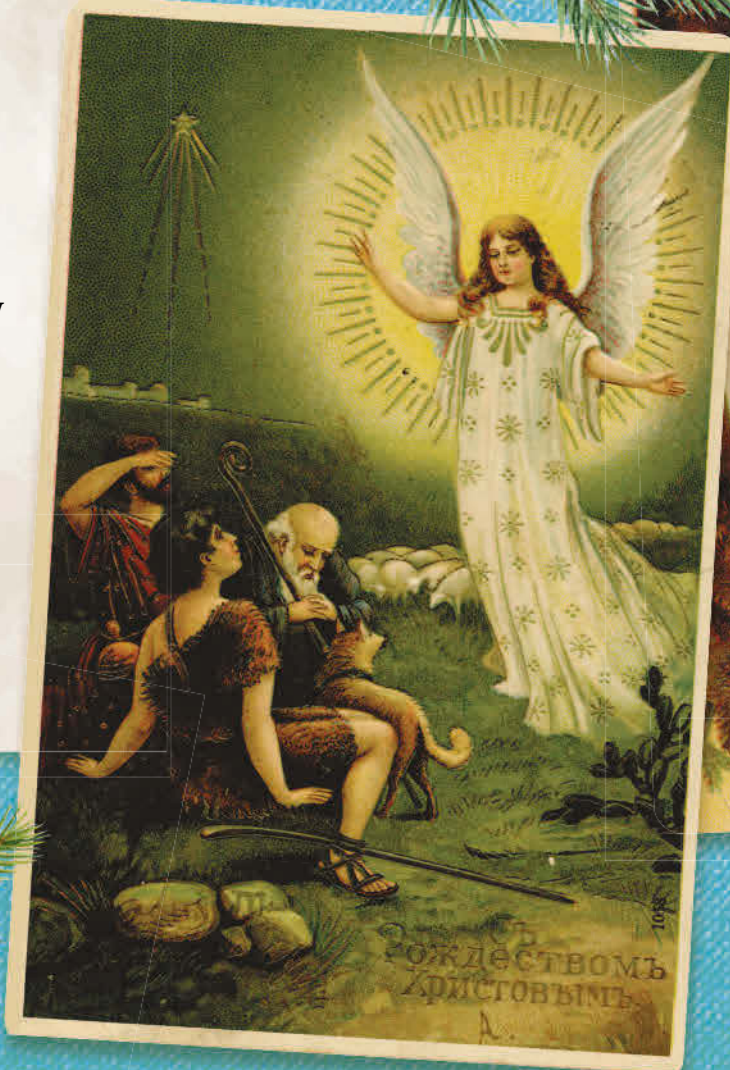
Ночь тиха...

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи,
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик...
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным прине.

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смиру и ливан.





А. А. Блок

Был вечер поздний и багровый...



Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.

И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.

Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искарюта
Улыбку видели гонцы.



Чудесный доктор

А. У. Курпин

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками



довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.





По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разбурянные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрезкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.





— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать».



— Ну, а ты?

— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.


Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, — разогреть-то нечем...





В это время в коридоре слышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнели от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланялся и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.



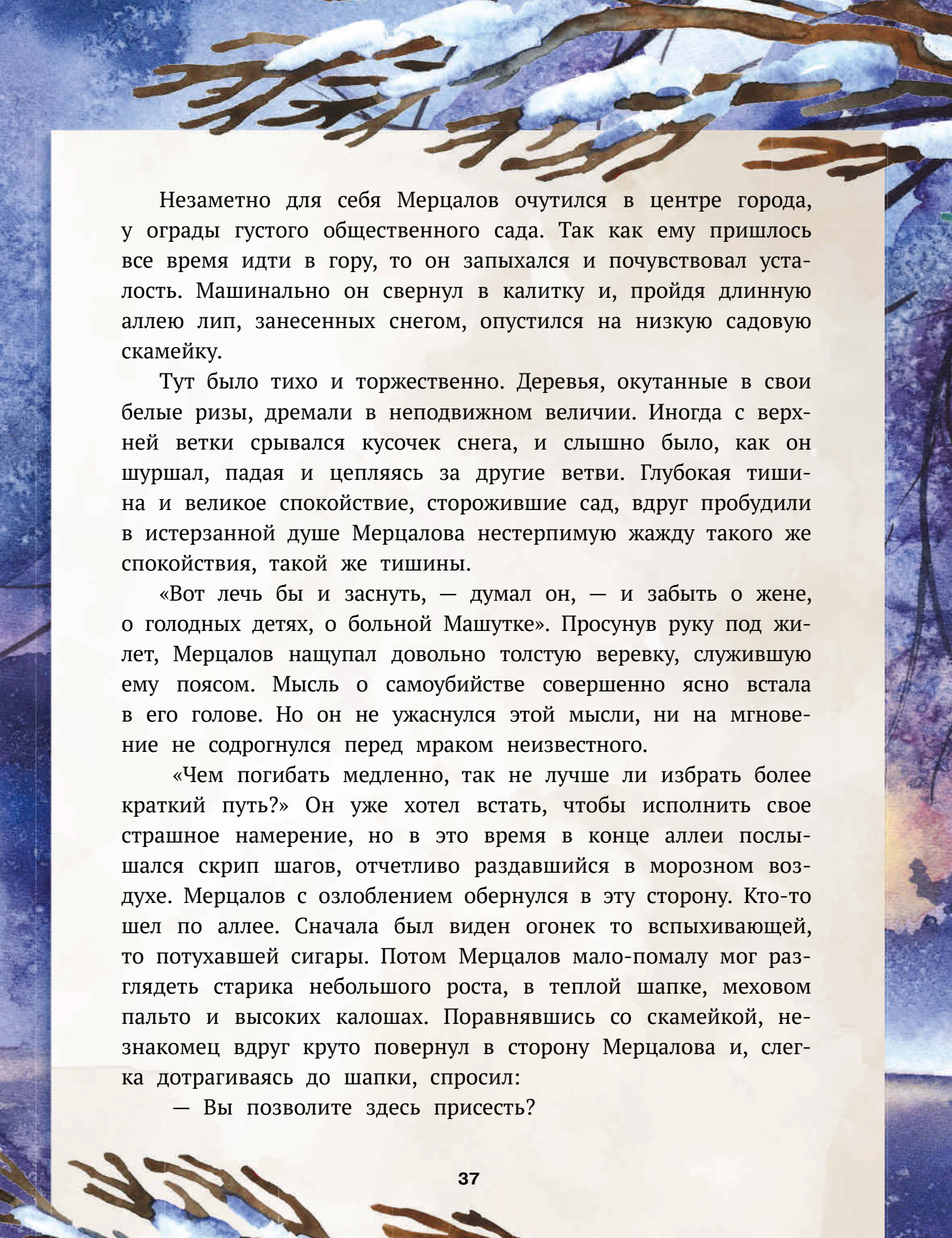
Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланяться, а во второй — его обещали отправить в полицию.



Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно... тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

— Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях, вплоть до нынешнего дня.

Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.



И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.



Съ Рождествомъ

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, сльвя образом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменялось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невосвратимо.

Елка в капельке

А. И. Курбин

Хорошо вспоминается из детства рождественская елка: ее темная зелень сквозь ослепительно-пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно — запахи. Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом: «Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью.

Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на игрушку ближайшего соседа.

У господского Димы — целый поезд, с вагонами всех трех классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки — деревянный конь: голова серая, в темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри — раскаленные угли, а вместо туловища толстая палка. Оба мальчугана завидуют друг другу.

— Посмотри, Дима, — изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, — вот дырочка, а вот ключик. Заводить надо так: раз-раз-раз... У-у! поехали, поехали!..





Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам, и вот пляшет на месте, горячится, ржет ретивый конь, и вдруг галопом вкось, вкось!.. У Димы катастрофа: крушение поезда, вагоны падают набок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще продолжают вертеться с легким шипением.

— Ах, Дима! Зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно?..

— Не хочу паровоза, хочу Васькину вошадь! Отдайте ему паровоз, а мне вошадь! Хочу вошадь!

Но гордый Васька гарцует, молодецки избоченившись на коне, и небрежно кидает:

— Ишь ты какой! Захотел тоже!..

Что говорить, волшебна, упоительна елка. Именно упоительна, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачово-красны.

Но много, ах как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются: какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом. Сел на пол, под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные.



К. М. Фофанов

Нарядили елку в праздничное платье...

Нарядили елку в праздничное платье:
В пестрые гирлянды, в яркие огни,
И стоит, сверкая, елка в пышном зале,
С грустью вспоминая про былые дни.
Снится елке вечер, месячный и звездный,
Снежная поляна, грустный плач волков
И соседи-сосны в мантии морозной,
Все в алмазном блеске, в пухе из снегов.
И стоят соседи в сумрачной печали,
Грезят и роняют белый снег с ветвей...
Грезится им елка в освещенном зале,
Хохот и рассказы радостных детей.





Съ Рождествомъ Христовымъ.



С. Я. Жадсон

Легенда о елке

Весь вечер нарядная елка сияла
Десятками ярких огней,
Весь вечер, шумя и смеясь, ликовала
Толпа беззаботных детей.
И дети устали... потушены свечи, —
Но жарче камин раскален;
Загадки и хохот, веселые речи
Со всех раздаются сторон.
И дядя тут тоже: над всеми смеется
И всех до упаду смешит;
Откуда в нем только веселье берется, —
Серьезен и строг он на вид:
Очки, борода серебристо-седая,
В глубоких морщинах чело, —
И только глаза его, словно лаская,
Горят добродушно-светло...
«Постойте, — сказал он, и стихло в гостиной... —
Скажите, кто знает из вас, —
Откуда ведется обычай старинный
Рождественских елок у нас?
Никто?.. Так сидите же смирно и чинно, —

Я сам расскажу вам сейчас...
Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов...



Цветы там душистее, звезды — крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна...
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз,
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился младенец Христос;
Родился в убогой пещере, — чтоб знали...»



дникоръ
сmba
тоба!

Христос в гостях у мужика

Рождественский рассказ

Ф. С. Лесков

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, — я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и передам его же словами.

* * *

Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было.

Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение — об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти всю его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию создателя, грех сего безумия не до конца совершился — Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотой. Пришли мы друг другу по сердцу.



* * *

Родители мои попервоначально не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему ходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, — весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки — гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:



- Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?
— В каком, — спрашивает, — это смысле?
— Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?

А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился.

— Ты, — говорю, — брат, меня прости, что я так спросил... Я думал, что лихое давно... минуло и позабылось.

— Нужды нет, — отвечает, — что оно давно... минуло — оно минуло, да все-таки помнится...

Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует.



Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит... Он это заметил и говорит:

— Что ты теперь думаешь?

— А так, — говорю, — думаю что попало.

— Нет: ты это обо мне думаешь.

— И о тебе думаю.

— Что же ты обо мне, как понимаешь?

— Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает:

— Ты святое слово проводить не сведущ.

— Это, — говорю, — твоя правда, я не сведущ.

— Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть.

Я и в этом на его сдanie согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, — и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

— Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, — говорит, — как другу моему откроюсь.

Я говорю:

— Если это тебе может стать на пользу — откройся.

И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улесть и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.





— Разве, — говорит, — все это можно простить? Я его в жизнь не прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабее его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать.

А я по простоте своей ответил ему просто.

— Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом — яснее стоит. Там надо всем блистает. «Возлюби, да прости», и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине?

Он молчит.

Тогда я положил в уме: «Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше сему, а не отомстительному обычаю.



А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить яко бы все равно что зло приумножить.

Я на это упрровергать не мог, но сказал только:

— Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным ты творят». Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь — зло живо, а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:

— Не могу, оставь — мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убывало еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, — забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

* * *

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился.

Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собою Евангелие. Пооглядел розы, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилось чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:

— Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении... И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б ты ко мне пришел — я бы тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:

— *Приду!*

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:

— Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

— Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании?

А Тимофей говорит:

— В Писании есть: «Все тот же Христос ныне и вовеки», — я не смею не верить.



— Что же, — говорю, — и верь.

— Я велю что день на столе ему прибор ставить.

Я плечами пожал и отвечаю:

— Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?

— Сказано, — говорит, — «сей грешники приемлет и с мытарями ест».

— А и то, — отвечаю, — сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы ты взошел в дом мой». Мне и это нравится.

Тимофей говорит:

— Ты не знаешь.

— Хорошо, будь по-твоему.





* * *

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек — он, да жена, да трое ребятшек, — всегда у них шестое место и конце стола почетное, и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье — но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание сдержит — придет. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, говорит, я молю: „Ей, гряди, Господи!“ — и ожидаю, но не слышу желанного ответа: „Ей, гряду скоро!“»

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.



* * *

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:

— Брат любезный, завтра я дождусь Господа.

Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил:


— Какое же ты имеешь в этом уверение?

— Ныне, — отвечает, — только я помолил: «Ей, гряди, Господи!» — как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей, *гряду скоро!*» Завтра его святое Рождество — и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

— Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек — мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество.





— Понимаю, — отвечает, — и сейчас пошлю служащих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных — кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость — пожалует, так встретит все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.

— Тимофей, — говорю, — кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, он все, чего не достанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы *всех дождаться*. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест — и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалось, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратились и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.

Одного только гостя нет и нет — который всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжелой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».

Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:

— Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю:

— Читай молитву.

Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земли...»

И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же про шумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылись настежь.

* * *

Все люди, сколько тут было, в неопisanном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за при толки держится; а из-за него из сеней, где темно было, неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем — такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет... И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это, вскричал:

— Господи! Вижду и приму его во имя твое, а ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный.

Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух:

— Вонмем: Христос среди нас!

А все отвечали:

— Аминь, — то есть истинно.

* * *

Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать — только один старик остался.





Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был *враг* Тимофея — дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — кто-то *неведомый* осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:

— Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой — ухлеби его, аще жаждет — напой его». Сядь у меня на первом месте — ешь и пей во славу Его, и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем.

* * *

Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель.

Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

Лев старца Герасима

Восточная легенда

И. С. Лесков



Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.

Стал Герасим с разными людьми советоваться: как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.

Тогда один христианин сказал ему:

— Ты хорошо сделаешь, если поступишь с своим богатством, как советует Иисус Христос, — ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.

Герасим послушался, — он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.

Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.

Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.

Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «отдай все и иди за Мною», — и больше не о чем беспокоиться.

Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.

Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться.





«Ну, — думает раз в большой жар Герасим, — мне этой муки не снести: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, — думает Герасим, — в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».

Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы, — как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах... Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а недалеко от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик и тяжело вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.

Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванчики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного».

Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволоч до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.

Ослик ожил и поднялся на ножки.

Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе, и думал: «помучусь я еще с ним — окажу ему пользу».

Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривой, — от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.

Герасим подумал: «ну, должно быть, мой конец: наверно этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.

Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки.

«Тут ему будет ночью свежо и спокойно», — думал старец, да и не угадал.

Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.

Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев протряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли.


Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.

Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полную воды и пошел опять к своей норе.

Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели.

Герасим стал омыwać раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.





Повторилось то же на другой день, и на третий, стало льву легче, а на четвертый день как пошел Герасим с ослом к роднику, — смотрит, — приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.

Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.

У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.

Стал старик жить со своими зверями.


У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось посмотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:

— Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом.

А Герасим отвечал:

— Нет, я самый обыкновенный человек, — и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел, — все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.

— Чем же ты обидел?



— Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а вместо того они все пересорились.

— Зачем же ты их умнее не поровнял?

— Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами не ровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего, — вот и спокойно было бы.

Люди закивали головами.

— Эге! — сказали, — да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.

Остались с ними три человека.

Герасим их не прогонял, только сказал:

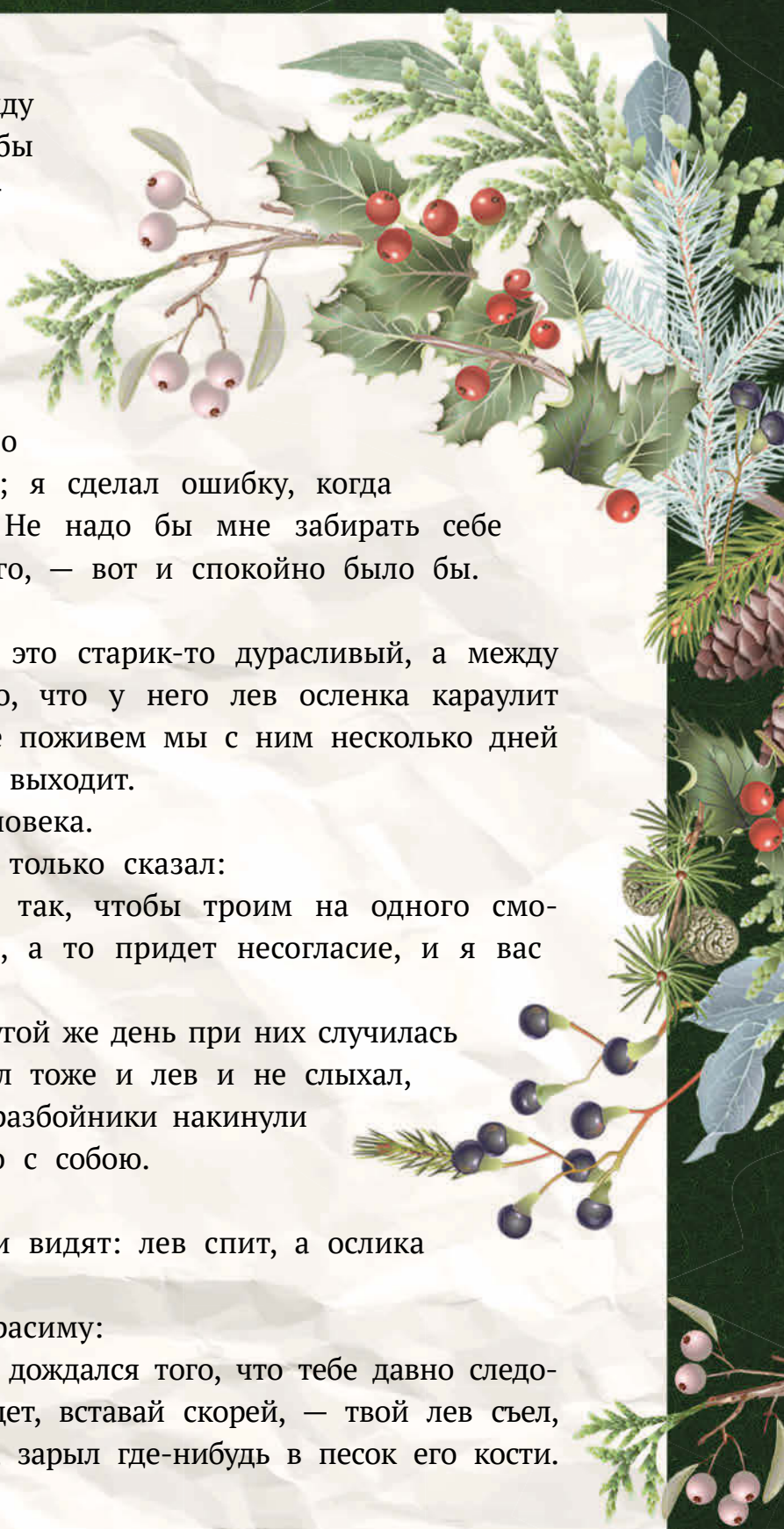
— Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забуюсь и уйду.

Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они спали, заснул тоже и лев и не слышал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою.

Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет.

Три и говорят старцу Герасиму:

— Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь всегда зверем будет, вставай скорей, — твой лев съел, наконец, твоего осла и верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.





Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою.

Идет, тяжело переступает, а смотрит — за ним вдалеке его лев плетется; хвост опустил до земли и головою понурился.

«Может быть, он и меня хочет съесть, — подумал старик. — Но не все ли равно мне как умереть? Поступлю лучше по Божью завету и не стану рабствовать страху».

И пришел он и опустился к ключу и набрал воды, а когда восклонился, — видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою.

Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал:

— Неси, виноватый.

Лев и понес воду и старца, а три пришельца, как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца.

Пришли многие и стали говорить Герасиму:

— Признайся нам, — ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?

— Нет, — отвечал Герасим: — я совсем обыкновенный человек и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.

— А как же этого можно достигнуть?

— Поступайте со всеми добром да ласкою.

— Как же с лютым быть ласково, — он погубит.

— Эко горе какое, а вы об этом не думайте и за себя не бойтесь.

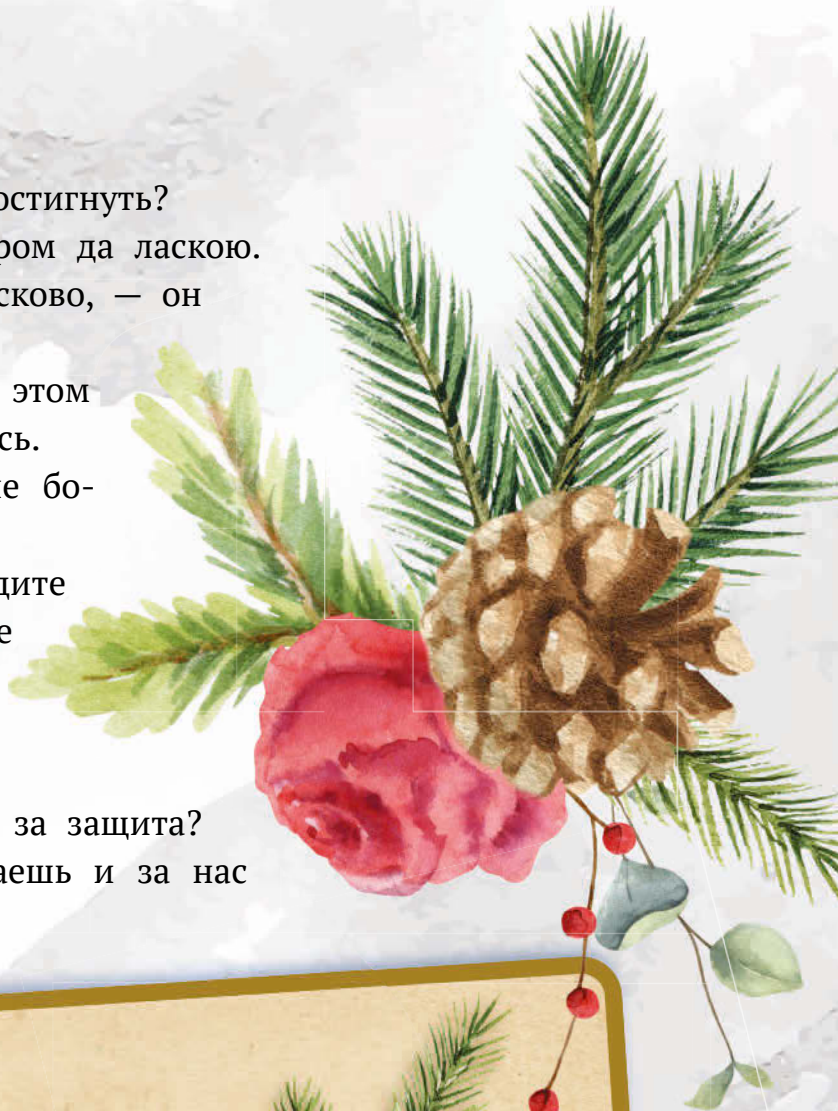
— Как же можно за себя не бояться?

— А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитесь.

— Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами.

— Пустяки, — что я от льва за защита?

— Ты от зверя средство знаешь и за нас заступишься.



СЪ РОЖДЕСТВОМЪ
ХРИСТОВЫМЪ!

А Герасим опять отвечал:

— Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средство знаю. Бог свою благодать дал мне — чтобы в себе страх победить, — я зверя обласкал, а теперь он мне зла и не делает. Спите, не бойтесь.

Все полегли спать вокруг меловой норки Герасима, и лев лег тут же, а когда утром встали, то увидели, что льва нет на его месте!.. Или его кто отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью.

Все очень смутились, а старец Герасим сказал:

— Ничего, он верно за делом пошел и вернется.



Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом пыль и в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с крыльями: одно поднимается вверх, а другое вниз падает, и все это мечется, и все это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму, и враз все упало и повалилось, как кольцом, вокруг всех стоявших; а позади старый лев хвостом по земле бьет.

Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов, которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их — навьюченный Герасимов ослик.

— Что это такое случилось и каким случаем?

А было это вот каким случаем: шел через пустыню купеческий караван; на него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг их, схватил за веревку, которою верблюды были связаны, и пошел скакать, а верблюды со страха перед ним прыгают и ослика подкидывают. Так лев и пригнал весь караван к старцу, а разбойники все с седел свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на них удержаться. Сам же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела.





Все люди всплеснули руками и закричали:

— Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!

— Мой лев имеет плохой разум, — отвечал, улыбаясь, старец, — он мне привел то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им все их богатство и моего осла на придачу, а я поведу к воде моего льва и там постараюсь вынуть стрелу из его раны.

И половина людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное острие.

Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел еще один человек средних лет, в пышном наряде и со многим оружием и, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги.

— Знаешь ли, кто я? — сказал он.

— Знаю, — отвечал Герасим, — ты несчастный бедняк.

— Я страшный разбойник Амру!

— Ты мне не страшен.

— Меня трепещут в городах и в пустыне, — я перебил много людей, я отнял много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.

— Он зверь, и потому отнимает.

— Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу... Возьми от меня, по крайней мере хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде, для твоего покоя.

— Не надо, — отвечал старец.

— Отчего же? Для чего же ты так горд?

— Я не горд, но шатер слишком хорош и может возбуждать зависть, а я не сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять приведет с собой беспокойство и зависть, и дележ, и упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха.



Серебряная метель

В. А. Жикифоров-Волгин



До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всюнощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю... За арифметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

— Балы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить начнет, тогда и услышу!



Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе и ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

<...> Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку... Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного раждает», и вместо «вол- сви же со звездой путешествуют» про- пел: «волки со звездой путешествуют».

Отец, послушав мое пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это ви- дано, чтобы волки со звездой путеше- ствовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать



вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник.



На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, — в другое время все на него роптали за гутнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду... Большая и голубая! Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видеть можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью, воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог! Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

— Услышите до последних земли, яко с нами Бог, — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. — Могуции покоряйтесь, яко с нами Бог... Живущий во стране и сени смертней свет возсияет на Вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадесе нам — яко с нами Бог... И мира Его нет предела, — яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома загорели (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолесток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на загоревшую елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».



В метель и вьюгу

Святочный рассказ

Н. В. Засодимский

I

День 25 декабря был сумрачный. Над городом низко нависли серые облака; шел снег. Смеркалось раньше обыкновенного; в три часа в домах зажгли огни. В сумерки весь город уже казался занесенным снегом. Все было в снегу: мостовые, крыши, заборы, деревья в садах... На улицах не видно было ни души. Только по красноватым огонькам, мерцавшим в окнах, можно было догадываться, что в этом белом, снегом занесенном городе жили-были люди.





Вечером разыгралась метель. Снег крупными хлопьями повалил с затянутого тучами неба. Холодный северо-восточный ветер бушевал... Как бешеный, как лютый зверь, с цепи спущенный, носился он по городским улицам и площадям, рвал и метал, дико завывая в трубах, и с ревом и стоном уносился за город — в поля, в леса, вздымая облака снежной пыли. Под напорами ветра деревья гнулись и скрипели жалобно. Флюгера на крышах как будто совсем растерялись и в недоумении, с визгом, вертелись туда и сюда, точь-в-точь как люди, застигнутые внезапно налетевшей бедой.



— Вот так погоду Бог дал для праздника! Свету Божьего не видать, — говорили они, сидя в теплых комнатах и посматривая в окна.

— Да! Хорошо теперь тому, кто под крышей, — замечали другие, с великим удовольствием думая о том, что им самим тепло и хорошо и никуда им не надо идти в такую снежную бурю.

На улицах по-прежнему было не видать ни проезжего, ни прохожего.

— Господи, спаси и помилуй, ежели теперь кто-нибудь в дороге, в степи! — со вздохом говорили сидевшие в тепле.

— В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, — рассуждали жалостливые люди.

Действительно, даже собак было не видно и не слышно. Все они попрятались в сени, в сараи, забрались на вышки... Правду говорили добрые люди: свету Божьего было не видать, и хозяин собаку на двор не выгонял... но человек выгнал человека из дома, даже в такую непогоду!..



На конце пустынной, широкой улицы в снежном вихре вдруг показалась какая-то девочка. Она тихо, с трудом брела по сугробам. Она была мала, худа, бедно одета. На ней было серое пальтишко с узкими, короткими рукавами, а на голове платок, какая-то рвань, вроде грязной тряпки. Платок прикрывал ей лоб, щеки, подбородок; из-под платка только блестели темные глаза да виден был кончик носа, покрасневший от холода. На ногах ее были большие черные валенки, и они, видимо, ей приходились не по ноге. Она медленно подвигалась вперед; валенки хлябали и мешали ей идти... Левой рукой она поминутно запахивала раздувавшиеся полы своего серого пальтишка, кулак же правой руки она крепко сжимала и держала у груди.

А снег все шел и шел, и вьюга бушевала. Ветер с яростью налетал на девочку, обдувая всю ее холодом и снегом. Он бесновался и крутился вокруг этой малютки, словно желая подхватить ее с земли, закружить в снежном вихре, вместе с ее черными валенками, и невесть куда умчать на своих холодных крыльях. А девочка все брела, пошатываясь и спотыкаясь...



Вдруг ветер с такой силой ударил ее, что девочка невольно протянула руки вперед, чтобы не упасть, и кулак ее правой руки разжался на мгновение. Девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец, она опустилась на колени и своими худенькими посиневшими ручонками стала шарить по сугробу. Через минуту пушистый снег уже покрывал ей голову, плечи и грудь, и девочка стала похожа на снежную статую с живым человеческим лицом. Она долго искала чего-то, долго рылась в снегу...

— Господи! Что же мне теперь делать? — растерянно прошептала она.

Глаза ее были полны слез и смотрели жалобно... Она подняла голову и взглянула вверх... Белые хлопья падали и падали на нее с темного мглистого неба.

— Как же я теперь?.. — шептала девочка, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Сквозь метель и вьюгу в окнах были видны брезжущие огоньки... «Счастливые! — подумала девочка. — Хорошо им теперь под крышей, в тепле, у огонька». Слезы катились по ее щекам и застывали на ресницах. Девочка вся дрожала от холода, от пронизывающего ветра. Она опять стала смотреть вверх.



А вверху — все то же... Ночное небо — темно и мглисто.

Девочка уже не пыталась идти и, закрыв глаза, только тяжело вздыхала. Шум и завывание ветра уже смутно доносились до нее. Ее начинало клонить ко сну... Она чувствовала, что замерзает, собрала последние силы и приподнялась.



— Эй! Помогите!.. Добренькие... — с отчаянием, дрогнувшим голосом крикнула она сквозь слезы, но звуки едва успевали слетать с ее губ, как ветер подхватывал их, рвал и заглушал, разнося на все четыре стороны.

Ни души живой не было вокруг; никто не слышал ее слезного призыва.

Девочка снова опустилась на снег. Еще несколько минут — и она заснет беспробудным, смертным сном...

А снег все шел и шел — и заносил несчастную малютку.





II

В это время с противоположного конца пустынной улицы шел какой-то высокий, рослый человек с палкой в руке, одетый не очень красиво, но зато тепло. Ветер изо всей мочи бесновался над ним, вьюга слепила ему глаза, но он твердой поступью шел вперед, опираясь на палку; видно, человек был здоровый, сильный и крепкий на ногах.

— Дуй, дуй, — весело говорил он налетевшему на него ветру, сыпавшему ему снегом прямо в лицо. — Дуй!.. Небось не сдунешь! Ведь наш брат, рабочий, тяжел на подъем... Видали мы и не такие метели, да...

И вдруг он остановился, прервав на полуслове свой разговор с метелью. С изумлением увидел он перед собою полузанесенное снегом живое человеческое существо.

— Кто тут? — спросил он, наклоняясь.

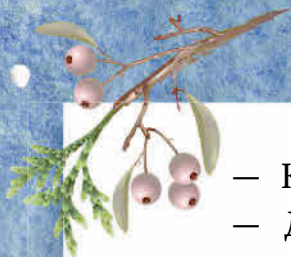
— Это я! — слышался слабый детский голосок.

— Гм! Что же ты тут делаешь? — спрашивал рабочий.

— Денежку ищу...

Девочка, стоя на коленях, вся в снегу, смотрела, как спросонок, на стоявшего перед нею великана.





— Какую денежку? — переспросил тот.

— Денежку — трешник!.. — вяло, как со сна, бормотала девочка, еле ворочая языком. — Хозяйка послала за свечкой... в лавку... дала два трешника... а я выронила!.. Один трешник — вот, а другого не нашла...

Девочка разжала кулак и показала на ладони темную медную монетку.

— Отчего же домой не идешь? — сказал рабочий.

— Боюсь!.. Хозяйка опять станет бить... — пролепетала малютка.

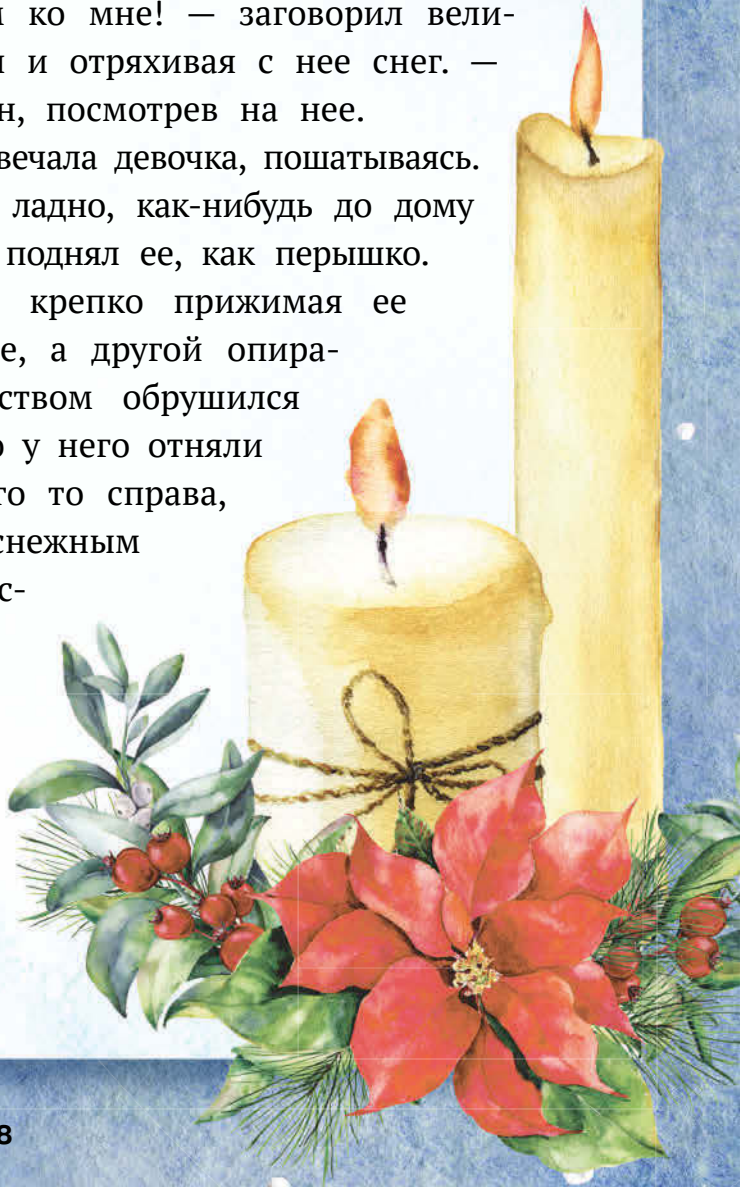
— Ну, будет толковать! Тут и я с тобой, пожалуй, замерзну... Вставай-ка! Живо! Пойдем ко мне! — заговорил великан, поднимая девочку на ноги и отряхивая с нее снег. — Идти-то можешь? — спросил он, посмотрев на нее.

— Ноги не слушаются... — отвечала девочка, пошатываясь.

— Эх, девка, девка!.. Ну, да ладно, как-нибудь до дому доберемся! — сказал рабочий и поднял ее, как перышко.

И пошел он, одной рукой крепко прижимая ее к груди, чтобы ей было теплее, а другой опираясь на палку. Ветер с бешенством обрушился на него, словно злясь за то, что у него отняли добычу. Он налетал на рабочего то справа, то слева, то хлестал в спину снежным вихрем, то ударял в лицо и заслеплял глаза.

— Тыфу ты, провал тебя возьми! — не выдержал рабочий, шатнувшись в сторону со своей маленькой живой ношей. — Ведь с ног же, однако, не сшибешь. Шалишь, брат!..





Девочка широко раскрыла глаза и прислушалась.

— Вишь, сегодня сердит больно, разбушевался на беду, — ворчал рабочий. — Не нашел другого-то дня! В самое Рождество этакую кутерьму затеял. Да добро! Нашего брата не проберешь... Мы и в жару не горим, и в стуже не мерзнем...

— Ты, дяденька, с кем же разговариваешь? — спросила девочка, высовывая из-под рваного платка кончик своего красного носа.

— С Ветром Ветровичем говорю! — отвечал великан. — Не все же ему одному зверем реветь, надо и человеческому голосу свою речь повести...

Миновали они широкую пустынную улицу, прошли один переулок, завернули в другой и вскоре очутились на берегу речки, почти за городом. Тут рабочий вдруг заметил, что к нему пристала какая-то рыжая, жалкая, лохматая собачонка. Она шла за ним, запорошенная снегом, вся как-то сторбившись, поджав хвост и низко понутив голову. Так ходят люди, забытые бедностью и горем... Собака шла за человеком, и человек не отгонял ее.

На берегу стояло несколько хат, теперь почти совсем занесенных снегом. В одну из этих хат вошел рабочий, — рыжая, всклокоченная собачонка шмыгнула за ним. Под конец дороги девочка дремала, и теперь, вдруг очутившись в тепле, она с изумлением раскрыла глаза и увидала себя в чистенькой, светлой комнате. На белом деревянном столе горела жестяная керосиновая лампа. Новые бревенчатые стены были не оклеены и пахли еще сосновой смолой. Лавки и два-три желтых стула стояли в комнате. На стене висели календарь, небольшие часы и какая-то дешевенькая раскрашенная картинка, а в переднем углу — образ. Маленькая дверь вела за перегородку в кухню.



В кухне стояла большая русская печь и одной стеной выходила в комнату, и тут несколько приступочков вели на печь. Кухня оставалась впотьмах; свет из комнаты смутно проникал в нее через дверь и поверх перегородки, на четверть аршина не доходившей до пола. Рабочий спустил девочку с рук, снял с нее платок и пальто.

— А теперь садись, вон, на приступочек у печки, и разувайся! — командовал он. — Валенки-то, поди, мокрехонькие...

Девочка села и лишь только шевельнула ножонками, как валенки моментально сползли на пол. Хозяин сходил на кухню и принес оттуда рюмку. В рюмку было налито немного водки.

— Пей! — сказал он, подавая девочке рюмку.

Та выпила и поморщилась.

— Горько небось? — спросил хозяин.

— Горько, дяденька, страсть! — отозвалась девочка.

— Ничего! Горько, да с морозу полезно! — заметил великан, наливая и себе водки. — Будь здорова! — сказал он, кивнув девочке головой и осушая рюмку.


— Кушай на здоровье! — степенно промолвила гостя.

Теперь она сидела на приступочке, сложа руки, и пристально, не сводя глаз, смотрела на хозяина. Это был дюжий, широкоплечий мужчина, головой выше обыкновенного высокого роста. Пол дрожал под ним, когда он проходил по комнате.

«Вот такого и Ветер Ветрович не свалит с ног, — подумала девочка и мысленно же добавила: — И хозяйкину братцу не тягаться с ним!..»

Лицо этого великана было чрезвычайно добродушное; по его голубым глазам и по светлой улыбке можно было дога-





даться, что в этом большом, мощном теле жила чистая, детская душа... Его белокурые короткие волосы вились кудрями и падали на лоб; густая борода его свешивалась на грудь. Ему, казалось, было лет под сорок. Теперь он был в праздничной серой блузе, подпоясанной красным поясом, и в длинных сапогах.

Поставив рюмку в шкаф, он подошел к девочке и, упершись в бока своими громадными кулачищами, с веселой улыбкой посмотрел на нее... Девочка была в ситцевом полинявшем платице с розовыми цветочками. Ноги были босы. Ее темные волосы, мягкие как шелк, без всякой прически падали ей на глаза. Ее большие карие глаза, оттененные густыми и длинными ресницами, смотрели теперь совершенно спокойно, беззаботно, как будто не над нею несколько минут тому назад бушевала вьюга-непогода и не она была на шаг от смерти.

— Встань-ка да походи, а еще лучше побегай!.. — сказал ей хозяин. — Согреешься отлично... Бежи! Я догонять тебя стану...

Девочка вскочила и побежала по комнате. Конечно, великану трудно было бы не догнать ее: не сходя с места, только протянув руку, он мог всюду ее достать. Он сделал вид, что бежит, гонится за нею, а сам, вместо того, топтался на месте и топтался так ужасно, что в комнате и в кухне все ходило ходуном.

— Ну, что? Ноги согрелись? Вот и ладно!.. — сказал хозяин. — Садись же опять на свой приступочек, у печки-то тепленько...

Он вытащил из кармана маленькую коротенькую трубочку, набил ее и закурил.

— А теперь, девчурка, мы станем с тобой разговаривать! — промолвил он, садясь перед нею на скамью и потягивая свою трубочку-носогрейку.





За стенами хаты метелица мела, вьюга бушевала. В хате было тихо, тепло и светло. Временами было слышно, как за печкой сверчок трещал.

Рыжая косматая собачонка смиренно свернулась у порога и, подремывая, одним глазом посматривала порой на собеседников.

III

Девочка уже совсем согрелась, ожила. На щеках ее яркий румянец горел, глаза блестели... Теперь, несмотря на свои распущенные волосы, на босые ножонки и на полинявшее платье, она оказалась очень хорошенькой девочкой... Откинув назад свои растрепавшиеся волосы, она приготовилась со вниманием слушать «дяденьку».

Великан выпустил из-под усов седой клуб табачного дыма и начал:

— Прежде всего, моя красавица, как тебя зовут?

— Зовут Машей! — бойко ответила девочка.

— А меня — Иваном!.. Вот и будем мы «Иван-да-Марья»... Скажи же мне, Маша, теперь: где ты живешь?

— Живу в людях...

— У чужих людей, значит?

— Да. У Аграфены Матвеевны... Знаешь?.. У нее дом в Собачьем переулке! — пояснила девочка.



— Собачий переулочек знаю очень хорошо, а Аграфену Матвеевну не знаю... Но где же твои отец и мать?

— Умерли. Отца я совсем не знала, а маму чуть-чуть помню...

— Как же ты очутилась у чужих людей? Почему они тебя взяли к себе? — спрашивал хозяин.

— Не знаю! — отвечала Маша.

— С каких же пор, давно ли ты живешь в людях?

— Не помню!

— Гм! Вот так штука!.. — проговорил великан, смотря на свою гостью и в недоумении почесывая затылок. — Ну, кроме хозяйки кто же еще жил с тобой?

— А жил еще хозяйкин муж и ее брат.

— Что ж, тебе плохо было у них?

— Хозяин-то ничего, смирный такой, тихий... Ни одной колотушки я не видала от него... — рассказывала девочка. — А сама хозяйка... ну, рука у нее тяжелая! Повесила она на стене, над моей постелью, ремень — и этим ремнем все была меня... А уж особенно хозяйкин брат... и-и-и, беда! Колотил меня — страсть! Вот и вчера еще он все руки мне исципал... вон, видишь как!

Девочка засучила рукав, и действительно, повыше локтя, на белой коже были явственно видны сине-багровые пятна.

— Господи, Боже Ты мой! И поднимается рука на малого ребенка! — сказал великан как бы про себя. — Гм! Уродятся же такие люди... Диво!

Он удивлялся, потому что сам никогда не мог поднять руки на ребенка. Сильные люди обыкновенно бывают смирны и не драчливы.

— Ты жила у них в работницах, что ли? — спросил хозяин, немного погодя.

— Да, в работницах!



— Что же ты работала?

— Да все, — говорила девочка. — За водой ходила, в горнице убирала, шила, вязала, в лавочку бегала, туда и сюда... Летом работала в огороде, поливала, полола.

— Так ты умеешь шить и вязать? — спросил хозяин.

— Умею... Да что ж за мудрость! — серьезным тоном промолвила Маша, разглаживая на коленях платье.

— Ох ты, работница-горе! — сказал великан, с грустной улыбкой посмотрев на девочку.

— А что ж такое? — отозвалась та. — Я только кажусь такая маленькая, а лет-то мне уж много...

— А как много?

— Семь лет, восьмой пошел.

— И вправду много!.. — с усмешкой промолвил великан. — Ну, теперь слушай!..

Девочка уселась поудобнее и, притаив дыхание, собралась слушать «дяденьку», вообразив, кажется, что он долго станет о чем-то говорить ей.

— Оставайся у меня! Будем жить вместе... Вот и весь сказ! — проговорил великан, стукнув трубкой по колену.

Он быстро решался и быстро задуманное им приводил в исполнение. «Эта девочка — сирота, родных у нее никого нет, — рассуждал он, — значит, я имею такое же право, как хозяйка ее, Аграфена Матвеевна, взять к себе девочку. И я возьму ее, потому что у Аграфены Матвеевны ей жить худо, а у меня ей будет хорошо».

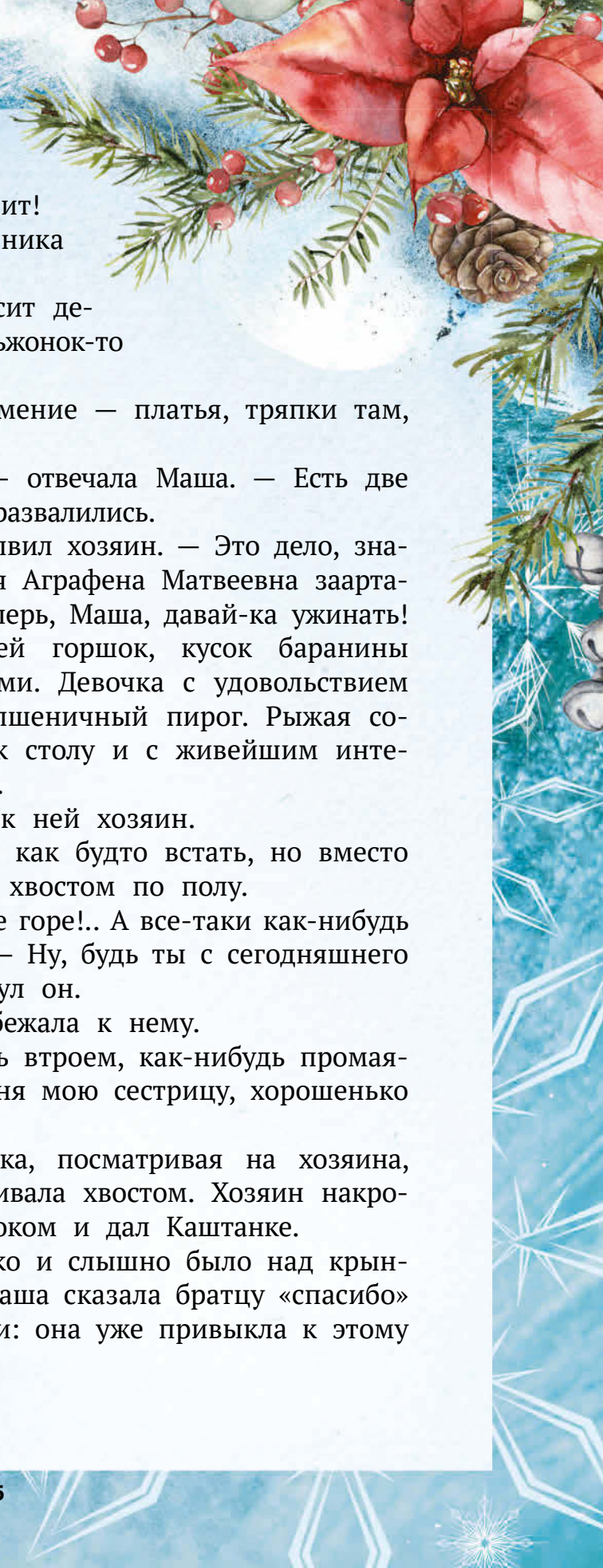
И великан, в знак решимости, еще раз стукнул трубкой по колену.

— Видишь... — продолжал он, — был у меня братишка немного поменьше тебя... Он помер! А ты вместо него оставайся у меня и зови меня братом! Слышишь?.. Ну! Остаешься у меня?

Девочка с изумлением смотрела на него.

— А как же хозяйка? — возразила она. — Ведь она меня за свечкой послала...





— Ну, свечку она сама себе купит!
— сказал рабочий. — А два ее трешника
я завтра отнесу ей.

«Если за прокорм девочки запросит денег, дам ей денег... Немного деньжонок-то у меня есть!» — подумал он.

— А есть у тебя какое-нибудь имущество — платья, тряпки там, что ли?

— Ничего, братец, у меня нет! — отвечала Маша. — Есть две старые рубашки, да и те уж совсем развалились.

— Тем лучше, девчурка, — промолвил хозяин. — Это дело, значит, мы живо покончим. А если твоя Аграфена Матвеевна заартачится, так мы синяки покажем. А теперь, Маша, давай-ка ужинать!

Он вынул из печи теплых щей горшок, кусок баранины с гречневой кашей и пирог с яйцами. Девочка с удовольствием ела и щи, и баранину, и вкусный пшеничный пирог. Рыжая собачонка той порой также подошла к столу и с живейшим интересом смотрела на Машу и хозяина.

— Как тебя звать? — обратился к ней хозяин.

Собака взглянула на него, хотела как будто встать, но вместо того только несколько раз хлопнула хвостом по полу.



— Гм! Сказать-то не можешь! Экое горе!.. А все-таки как-нибудь звать тебя надо, — говорил хозяин. — Ну, будь ты с сегодняшнего дня Каштанкой! Каштанка! — крикнул он.

Собака сорвалась с места и подбежала к нему.

— Ну, вот и отлично! Будем жить втроем, как-нибудь промаячим. А ты, Каштанка, береги без меня мою сестрицу, хорошенько сторожи ее! Слышишь?

Девочка весело засмеялась. Собака, посматривая на хозяина, самым решительным образом помахивала хвостом. Хозяин накрошил в крынку хлеба, облил его молоком и дал Каштанке.

В комнате несколько минут только и слышно было над крынкой: «хлеп-хлеп-хлеп»... Поужинав, Маша сказала братцу «спасибо» и опять села на приступочек у печки: она уже привыкла к этому местечку, оно нравилось ей.



— Сегодня ты у меня еще гостя, а завтра принимайся за хозяйство, помогай мне! — сказал ей хозяин.

— Хорошо, братец! — промолвила Маша.

Убрав со стола и повозившись над чем-то в полуосвещенной кухне, хозяин вышел в комнату и увидал, что его сестренка сидит, пригорюнившись.

— О чем, Маша, задумалась? — спросил он ее.

— А думаю я, братец, если я останусь жить у тебя, кого будет бить моя плетка? Не возьмет ли хозяйка опять какую-нибудь девочку?.. Как бы, братец, сделать так, чтобы все хозяева были добрые, чтобы они не дрались?.. Тогда у них хорошо было бы жить!

— Гм? Мудрено это сделать, — в недоумении проговорил великан, приглаживая бороду.

— И все мне не верится, что я совсем ушла от Аграфены Матвеевны и буду жить с тобой и с Каштанкой. А ну как хозяйка придет сюда за мной?


— Приде-е-ет?! — угрожающим тоном проворчал великан, выпрямляясь во весь рост и с непреклонной решимостью смотря на дверь, как бы ожидая прихода сердитой злой хозяйки. — Приди-ка! я ей пальцем погрожу, так у нее только пятки замелькают... Вздумала малое дите бить...

— А если она пожалуется будочнику? Тут что? — спросила Маша.

— Будочнику?.. Ну, что ж... Тогда мы синяки представим! Ведь за синяки нынче хозяев по головке не гладят, — успокоил ее великан.

— А все мне как-то боязно, братец! — призналась девочка, робко, с тревожным видом, поглядывая на своего защитника. — Ведь тебе, братец, не сговориться с ней,





с Аграфеной-то Матвеевной. Ты слово скажешь, а она — десять! Право, не сговорить!

— Да я и говорить-то с ней не стану. Дуну — и улетит! — сказал хозяин.

— Ты не знаешь ее. Ведь она у-у-у какая бедовая!

— Вижу: напугали они тебя... А-ах! Сиротинка ты горемычная!.. — промолвил он, легко положив девочке на голову свою ручищу, и тихо, ласково погладил ее по волосам.

Вдруг губы у Маши задрожали, и, закрыв лицо руками, она горько-горько зарыдала. Горячие слезы текли по ее щекам, по пальцам и падали на ее полинявшее старенькое платье.


— Ты что? Чего заревела? Маша! А Маша? — спрашивал скороговоркой великан, наклоняясь к ней и заботливо, с участием заглядывая ей в лицо. — О чем ты?.. Что ты, Бог с тобой!.. Ну, скажи, скажи же мне!

— Давно... давно... — всхлипывая, дрожащим, прерывающимся голосом шептала девочка... — Давно... с той поры, как мама... умерла... Никто... не гладил меня так по голове... а все только били... били...

Последнее слово Маша выкрикнула как бы с болью, словно все горе, за несколько лет накопившееся в ее маленьком сердечке, вырвалось в этом скорбном крике.

В хате было тихо. Только слышалось всхлипывание, да за печкой сверчок трещал... а за стеной хатки по-прежнему вьюга бушевала, с воем и стоном носясь по снежным равнинам.

— Ну, ну! Полно же, уймись! — уговаривал плачущую девочку хозяин. — То все уж прошло... а теперь развеселись, голубка! Посмотри-ка, что у нас тут будет!..







IV

Иван Пичугин был рабочий на одном пригородном заводе. За его громадный рост товарищи звали его «Коломенской верстой». Пичугин был добрый, смирный человек и хороший рабочий, дельный, трезвый и при том грамотный, получал порядочную плату, выстроил себе домик на краю города и жил безбедно со своим маленьким братишкой Митей. Митя был славный мальчик, лет шести. Ровно год тому назад, перед Рождеством, он заболел, и через три дня дифтерит задушил его. Пичугин сильно горевал.

В сочельник, когда Митя был еще жив, он купил маленькую елку и украсил ее разноцветными восковыми свечками и всякими сладостями; он не воображал, что его Митя болен опасно. Он собирался вечером в первый день Рождества зажечь елку, потешить братишку, но в тот самый день вечером Митя умер... «Ну! — со вздохом подумал он, обрядив покойника и положив его. — Если ты живой не успел порадоваться на мою елочку, так пусть же теперь она стоит над тобой!..» Он поставил елочку у изголовья Мити... Елочка склоняла над ним свои темно-зеленые пахучие ветви, а Митя — холодный и неподвижный — лежал со сложенными на груди ручонками, и его мертвое бледное личико было невозмутимо спокойно. Точно он заснул под зелеными ветвями этой ели... Иван сидел в ногах у маленького покойника и, упершись локтями в колени и опустив голову на руки, горько плакал... Опустела его новая хатка; не слышно в ней ни детского простодушного говора, ни детского доброго смеха...

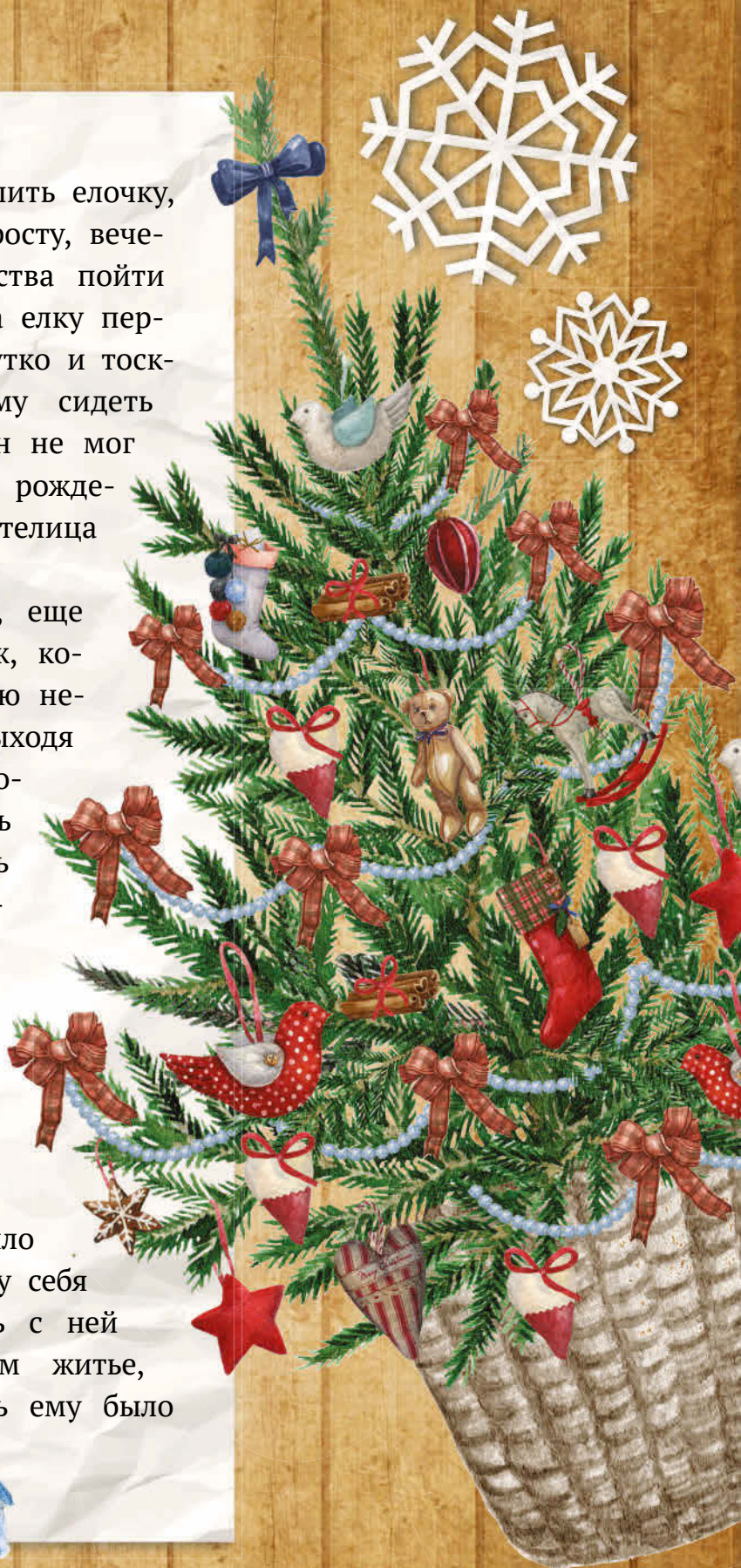
Прошел год. И опять наступило Рождество; опять крестьяне повезли в город на продажу зеленые елочки. И задумал Иван



Пичугин в память брата купить елочку, украсить ее по-своему, попросту, вечером в первый день Рождества пойти в город и зазвать к себе на елку первого встречного бедняка. Жутко и тоскливо ему было бы одному сидеть в тот вечер... Конечно, Иван не мог знать, что именно в этот рождественский вечер заметет метелица и забушует вьюга.

«Взрослого, может быть, еще встречу сегодня, а ребят уж, конечно, нет на улице в такую непогоду!» — подумал он, выходя из дома и направляясь в город сквозь снежный вихрь и мглу. А в душе ему очень хотелось повстречать и привести к себе на елку именно какое-нибудь маленькое дитя.

И вдруг он находит в снегу полузамерзшую девочку... Сама судьба дарила ему гостью. Конечно, сначала у него не было и в помышлении оставлять у себя девочку, но, разговорившись с ней и узнав о ее горемычном житье, он сразу решился. И теперь ему было очень весело.



— Смотри-ка, что у нас будет! — повторил он, уходя в кухню, и через минуту вынес оттуда зажженную елку и поставил ее посреди-не комнаты на табурет.

Маша как взглянула, так и ахнула. Она еще утирала рукой слезы, а на полураскрытых губах ее уже играла радостная, сияющая улыбка. Так иногда, тотчас после бури, из-за темной, грозовой тучи блеснет яркий солнечный луч.

Елочка была небольшая и совсем не напоминала собой те великолепные елки с цветами, с блестками и мишурой, какие, например, продаются в Петербурге у Гостиного двора. На этой елке горела дюжина разноцветных восковых свечей, да висели грецкие орехи, пряники и леденцы; были, впрочем, между ними и две или три конфеты с раскрашенными картинками. Эта скромная елочка показалась Маше восхитительной. Такой радости на святках у нее еще никогда отроду не бывало, по крайней мере она не помнит. Маша забыла и хозяйку, и жестокого хозяйкиного брата, и метель и вьюгу, бушевавшие за окном, забыла свое горе и слезы и бегала вокруг елки, хлопая в ладоши и наклоняя к себе то одну, то другую зеленую веточку. Восковые свечи ярко горели, но Машины глаза горели ярче их. Щеки ее пылали от изумления и восторга.





— Ах, как хорошо! Вот-то прелесть! — кричала девочка, всплескивая руками. — Господи! Свечей-то, свечей-то!.. Точно в церкви перед образами... А орешки-то качаются... Видишь, братец?.. Вон, качаются!..

— Да, да! — говорил великан, тоже ходя вокруг елки. Добрая, простая душа его радовалась детской радости...

Прежде — до появления Маши, — при взгляде на елку он невольно вспоминал своего милого братишку, и его бледное личико с застывшими глазами не раз мерещилось ему под зелеными ветвями ели. Теперь же, при виде разогревшейся, веселой девочки, это печальное воспоминание оставило его. Иван был не один со своими думами в этот рождественский вечер: с ним был живой человек.

— Теперь я поставлю елку на пол, а ты рви с нее все, что хочешь! — сказал он Маше.



— Можно взять и конфетку? — недоверчиво спросила его девочка.

— И конфетку можно — и все!.. Валяй!..

Маша осторожно сняла с елки конфету, орех и два пряника.

— Бери больше! Бери! Вот так!..

И он сам начал обрывать сласти и бросать их Маше. Маша довольна, Маша счастлива... Хозяин загасил свечи и унес елку в кухню. Завтра они опять зажгут ее.

Великан сел на скамью и закурил трубку. Тут девочка в первый раз решилась сама подойти к нему. Подходила она к нему не вдруг, исподволь... но наконец-таки подошла, обеими ручонками взяла его за руку и молча припала своей горячей, нежной щекой к этой мозолистой, грубой руке. Так Маша без слов благодарила великана, да и словами она не высказала бы больше того, что сказало ее ласковое, робкое пожатие руки... И великан отлично понял ее, взял ее за голову и по-братски, крепко поцеловал ее в лоб. После того девочка стала уже смелее. Она села с ним рядом на скамейку и прижалась головой к его плечу. А он легко и осторожно обнял маленькую девочку своей ручищей.

Рыжая всклокоченная Каштанка той порой также стала смелее и преспокойно улегся у Маши в ногах.

— Что это такое? — спросила девочка, притягивая к себе трубку и с любопытством разглядывая ее.

Трубка вместе с крышкой изображала сидящего медведя; когда Иван курил, то из ноздрей и изо рта медведя валил дым. Хозяин объяснил Маше, кого изображала его трубка.

— А где медведи живут? — спросила его Маша. — В лесу?

— Да! В темных, дремучих лесах они живут, — отвечал Иван.

— Расскажи мне что-нибудь о них! — попросила его девочка, ежась при мысли о диких медвежьих дебрях, теперь занесенных снегом и погруженных в ночную мглу. — Ах! Я думаю, теперь страшно в лесу! — говорила она, крепче прижимаясь к великану, посматривая в тусклое оконце, разрисованное морозом, и прислушиваясь к завыванию ветра.



Иван рассказал ей кое-что о медведях... Девочка с удовольствием слушала его.

— Не пора ли спать? — спросил он, посмотрев на свои настенные часы. — Уж одиннадцать часов.

— Посидим еще! — стала упрашивать его Маша. — Расскажи мне еще что-нибудь! Я люблю слушать.

— Что ж тебе рассказать? Сказочку?

— Нет! — подумав, промолвила девочка. — Расскажи мне лучше, как Христос родился... Я один раз спрашивала об этом Аграфену Матвеевну, да она сердилась... «А тебе, говорит, что за дело? Он, говорит, родился не для таких дрянных девчонок, как ты!..» Разве это правда, братец?

— Конечно, неправда! — отвечал рабочий. — Он родился для всех — для дрянных и для хороших.

— Ну, так расскажи же!..



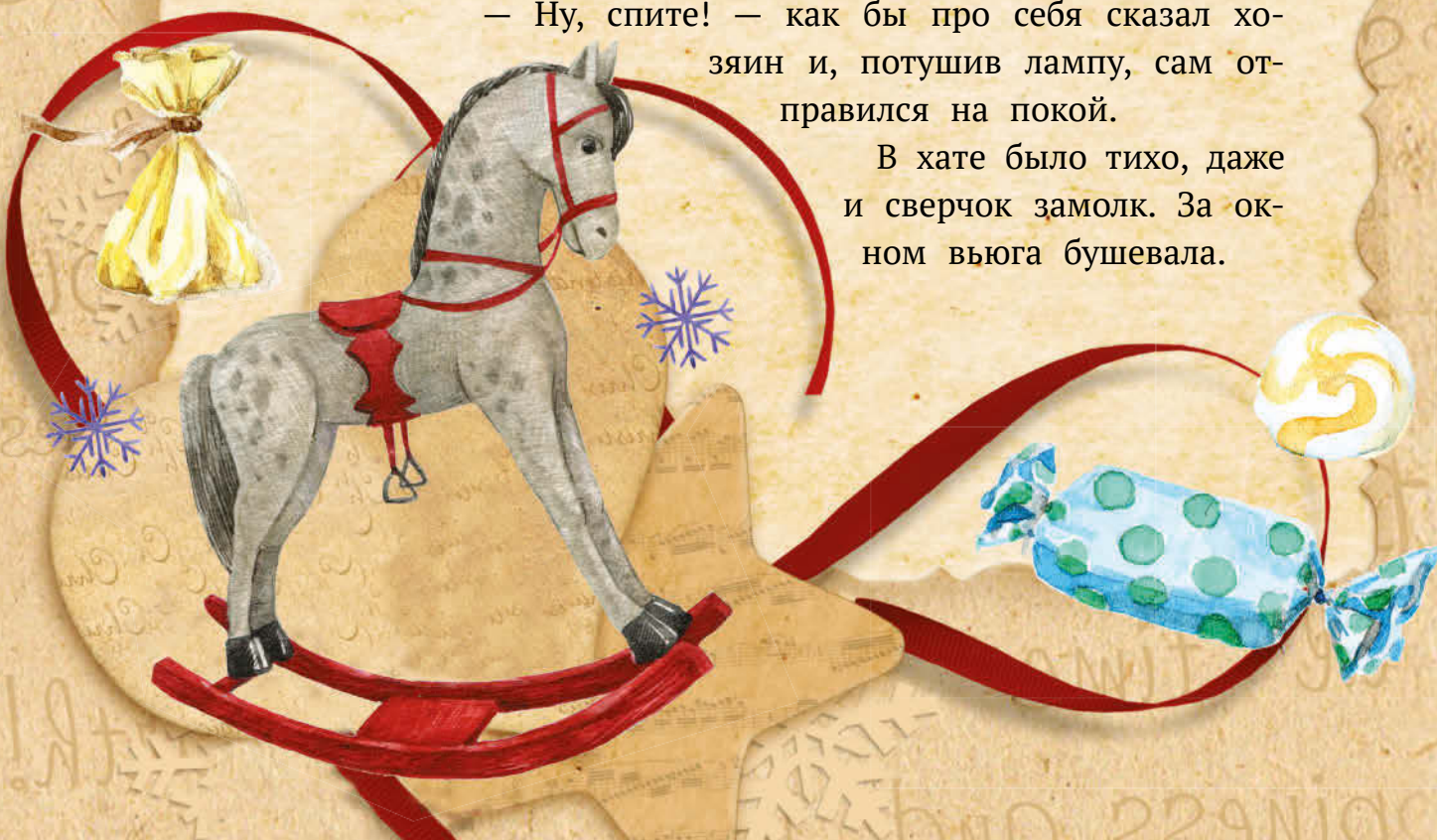
Хозяин достал с полки книгу Священной истории — «Новый Завет», с картинками, и, показывая Маше картинки, начал свой рассказ, как водится, с появления волхвов. Девочка внимательно слушала его; простой рассказ простого человека, очевидно, произвел на нее сильное впечатление. По окончании рассказа, Маша пересмотрела снова все картинки, относившиеся к Рождеству Христову, задала Ивану еще несколько вопросов и затем замолкла... Скоро она закрыла глаза и припала головой к ласкавшей ее руке великана. Она устала, бедняжка, измучилась, иззябла, натерпелась сегодня немало страхов и волнений, и теперь, пригретая, успокоенная, она невольно задремала и тихо заснула... Иван посмотрел на спящую девочку и подумал: «Ну, выращу тебя, выкормлю, поучу как-нибудь, а там — даст Бог — будет видно...» И в ту минуту он окончательно, бесповоротно решил не расставаться с Машей...

Иван постлал ей на печи постель; осторожно, бережно взял он девочку на руки и уложил на печь. Маша не проснулась...

Каштанка уже давно спала у дверей, свернувшись в рыжий комок.

— Ну, спите! — как бы про себя сказал хозяин и, потушив лампу, сам отправился на покой.

В хате было тихо, даже и сверчок замолк. За окном вьюга бушевала.



Маше тепло на печи; спокойно, крепко спится ей... И вот стены хаты мало — помалу раздвигаются, — и Маша видит перед собой громадную, великолепную залу, с высокими окнами, с колоннами, и в глубине той залы, на позолоченном троне, в сияющей короне сидит царь. Брови его мрачно нахмурены, и лицо покраснело от гнева. Какие-то старцы с седыми бородами, в темных одеждах, почтительно стоят перед ним и говорят: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться ему!» Царь, видимо, сильно встревожен. Он хватается за свою блестящую корону, задумывается на мгновение, потом подзывает к себе своих советников-вельмож и шепотом о чем-то разговаривает с ними. Наконец, царь понемногу успокаивается и ласково, приветливо обращается к старцам: «Идите, говорит он, и разведайте о Младенце; когда найдете, известите меня, и я пойду поклониться Ему!» Старцы уходят... пышный дворец исчезает...

Перед Машей расстилается обширное, ровное поле... Над землей еще лежат ночные тени. Небо ясно и все искрится звездами, но одна звезда горит всех ярче... Необыкновенно ярким, серебристым светом горит она в синих небесах. Вдали темнеет город, и яркая звезда горит прямо над ним... Маша видит: пастухи пасут овец. И вдруг они встают, берут свои длинные, крючковатые посохи и идут к городу, — и Маша с ними...

Они идут по городским улицам и переулкам и приходят в какой-то жалкий, убогий сарай; тут навалены груды соломы, сена и стоят ясли... В яслях Младенец покоится, и мать с любовью склоняется над Ним. Тут же в тени, около яслей стоит, опираясь на посох, какой-то пожилой мужчина почтенного вида, с большой бородой и в темной одежде. Та яркая звезда, которую уже видела Маша, светит теперь через дырявую крышу сарая, озаряя своим небесным светом чудный лик Младенца... Маша смотрит на него и не может глаз отвести. И вдруг так радостно, так светло и весело стало у нее на душе...



Вдруг все пропадает — и сарай, и ясли, и пастухи...

Опять перед Машей царский пышный дворец, и на троне опять царь в короне сидит. Суров он и грозен, как темная туча. Глаза его злобой пылают. Он облакачивается на ручку трона и говорит: «Волхвы осмеяли, обманули меня! Я сказал им, чтобы они развели о Младенце и известили меня... А они не зашли ко мне и иным путем возвратились в страну свою...» Вдруг он порывисто поднимается с трона; корона ярко блещет на голове... «Воины! Сюда! Ко мне!» — зовет он громким голосом. И отовсюду бегут к нему воины в железных шапках, в железных латах, с копьями, с секирами, с мечами, с бердышами; клики воинов, стук и бряцанье оружия сливаются в один неясный гул. Маша дрожит, замирает со страху... Царь говорит своим воинам: «Идите и избивайте в Вифлееме и в окрестностях его всех младенцев до двух лет! В числе их вы, наверное, убьете и того Младенца, которому ходили поклоняться волхвы... Идите!..» И видит Маша, как железные люди с железными мечами в руках пускаются исполнять повеление царя. И с ужасом Маша слышит бряцанье оружия, отчаянные, жалобные детские крики, стоны и плач матерей... «Господи! Что ж это будет?.. Они младенцев избивают!..» — говорит она себе, и ее маленькое сердце кровью обливается... Ей жаль этих несчастных, ни в чем не повинных детей...

В это время, откуда ни возмись, является ее хозяин — великан. При нем грозный царь кажется Маше совсем маленьким человеком. И Иван-великан говорит царю: «Не перебить тебе, Ирод, всех младенцев! Да и напрасно ты избиваешь их... Христос жив!..» Едва он проговорил эти слова, как черные тучи за клубились над землей, грянул гром, поднялся страшный вихрь, и в том вихре все исчезло — и пышный дворец, и железные воины, и царь Ирод с тронem и с сияющей короной... Стало тихо, тихо... И слышит Маша чудесное пение... Слово музыка, доносится до нее это пение откуда-то издалека, как будто с облаков. Не ангелы ли то поют?



Маша открывает глаза.

Ясное зимнее утро уже заглядывало в окна хаты. Ветер стих; вьюга умчалась. Снег ослепительно блистал в золотисто-розовых лучах восходящего солнца. Яркое, голубое небо раскидывалось над землей. Метель прошла, как сон; ее как не бывало...

В душе Маши так же, как и за окном, было спокойно, ясно и светло... А в ушах ее все еще отдавалось тихое, дальнее пение, лившееся, словно с заоблачных высот: «Слава в вышних Богу, и на земле мир...»



Рождественское

Ваша Черный

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос...
Бык дохнул в лицо младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком...
Присмиривший белый козлик
На чело его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.



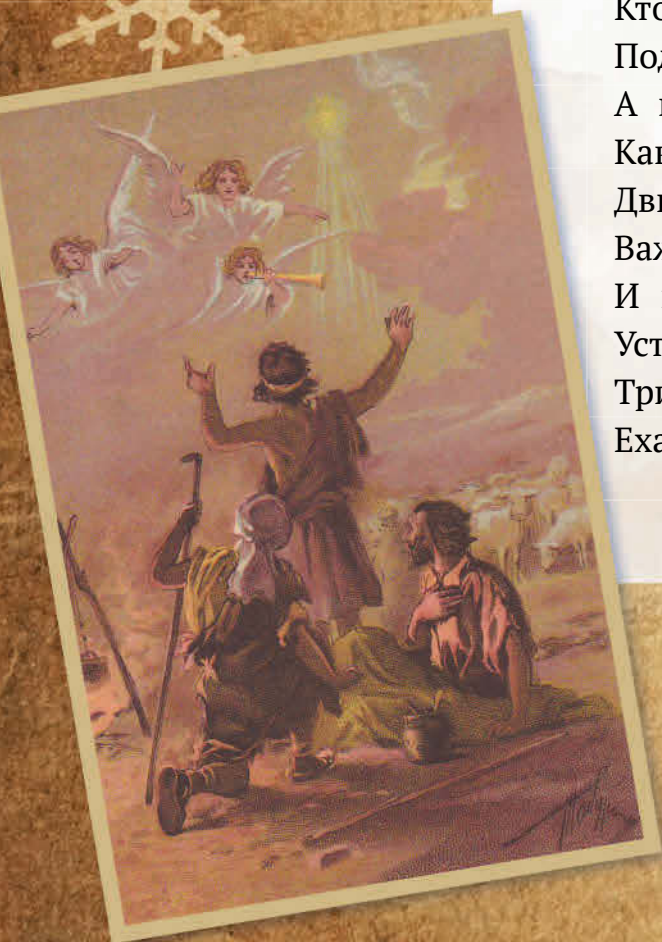
«Посмотреть бы на ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»



А. С. Хомяков

В эту ночь земля была в волнении...

В эту ночь земля была в волнении:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.
Овцы, спавшие на горном склоне,
Пробудившись, увидали там:
Кто-то светлый, в огненном хитоне
Подошел к дрожащим пастухам.
А в пустыне наблюдали львицы,
Как дарами дивными полны
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.
И в числе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.





А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Белые ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волненьи:
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благословенье,
Наступленье мира на земле.



Поздравляю съ праздни́ками



Новогодний праздник отца и маленькой дочери



А. С. Трин

I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.






Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.


Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.



Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой, разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверь, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.





II



Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.



«Мой дорогой папа, — значилось там, — я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкаф мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, нехстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.





III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.


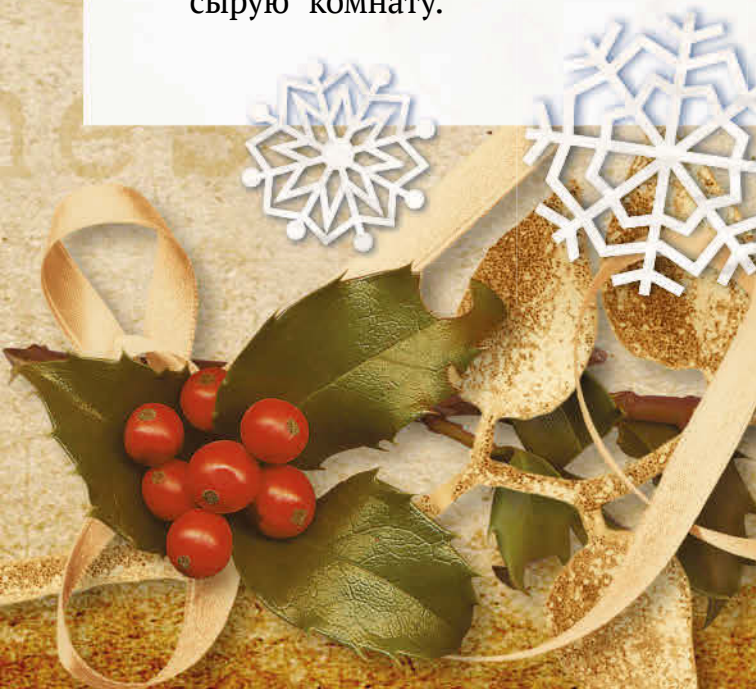
— Он уехал, барышня, — сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскивали тень улыбки в бородастом лице, — он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.


— Да, время идет, — согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня, — сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. — Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.





Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже пришла и ожидает его, что они разминутся. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

— Папа, ты, — детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой, — сказал он, садясь и снова обнимая ее, — полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп. — Ну, вижу тебя.

— А еще?


— Что такое?

— Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блеснуть.



Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.


— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине. Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.





IV



Он стал разом сидеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, — выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

— Но, папа, — сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, — неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?



Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она. — Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стоны, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

— Да, — сказал он, отнимая от лица руки, — я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, — а мне понадобится еще лет пять, — я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!





О Рождестве

Рождество Христово православная церковь отмечает в ночь с 6 на 7 января. Этот праздник по праву считается одним из самых главных в христианстве.

После введения христианства (X век) Рождество стали праздновать и на Руси, где ранее в это время отмечался другой зимний праздник — Коляда.

Символизм и значение Рождества и Коляды оказались во многом схожи, именно поэтому на Руси традиции этих праздников тесно переплелись, образуя многогранную и невероятно интересную картину.

Рождество символизирует обновление точно так же, как рождение Христа явило собой новую эру для человечества — и именно это событие стало точкой отсчета нового летоисчисления.

В Рождество люди ожидают чуда и молятся, чтобы следующий год был счастливым и плодородным.

Рождество входит в число семи господских двенадцатых праздников, а предшествует ему сорокадневный пост.



Сочельник

Согласно Евангелию от Матфея, рождение Христа было знаменовано появлением на небосводе яркой звезды, которая и привела волхвов к младенцу. Именно поэтому празднование Рождества начинается 6 января с появлением на небе первой звезды.

К Рождеству хозяева обязательно убирали дом, мылись в бане, стелили чистую скатерть, припасали новую одежду, которую и надевали с началом дня, приглашали на рождественский ужин одиноких людей.



Перед праздником верующие постились. Затем начиналась вечерняя трапеза, первым блюдом которой была кутья. Варили эту кашу из разных круп, добавляли мед и изюм. Существует множество рецептов кутьи. Например, можно взять крупу и замочить ее на ночь, после чего отварить до готовности и добавить сладости. Можно взять рис, мед и мармелад или пшено, мак и мед, а еще кутью можно сварить из перловой крупы или обдирного ячменя и добавить туда цукаты. Но самым интересным ингредиентом кутьи было сочиво — сок из семян конопли, миндаля или мака. Именно этот сок в те времена называли молоком. И именно от слова «сочиво» канун Рождества приобрел свое название — сочельник.

Всего на рождественский стол было принято ставить двенадцать блюд. Кроме кутьи, одним из основных был узвар — компот из сухофруктов.

В Древней Руси в сочельник стол покрывали сначала соломой, а сверху — скатертью. С помощью соломы под скатертью гадали — вынимали по одной на удачу. Длинная соломинка сулила хороший урожай, а короткая — скудный. Еще обвязывали ножки стола — чтобы скотина не сбегала. Молодые девушки гадали, бросая горсти снега против ветра: если он падал звучно — жди молодого и красивого жениха, а если тихо — старика или увечного.

Перед Рождеством служат всенощное бдение — молитву, длящуюся всю ночь и состоящую из вечерни и утрени. Вторым раз такое богослужение проходит на Пасху. После отслуженной в сочельник вечерни служат Великое повечерие и читают на нем пророчества о Рождестве. А около полуночи начинается утренья. На ней читают фрагменты Евангелия о Рождестве и поют канон «Христос рождается...».





День Рождества

В сам день Рождества верующим разрешается есть не только постную, но и скоромную пищу, поэтому все празднуют и пируют — «разговляются» после дней поста.

Главные угощения праздничного стола — рождественский гусь с яблоками и свиное мясо: это и холодец, и зажаренный поросенок, и фаршированная свиная голова, и жаркое. На рождественский стол подаются также запеченные птица и рыба, жареное и печеное мясо. Мясом начиняют и разнообразные пироги: калачи, ватрушки, колобки, кулебяки, курники, расстегаи и пр. Готовят запеканки и блины. Кроме мясных начинок, готовят разнообразные овощные, фруктовые, грибные, рыбные, творожные и смешанные начинки.

А еще на Руси в Рождество к празднику пекли фигурки животных из пшеничного теста, которыми украшали столы, окна избы и посылали в подарок родным и знакомым.




Святки



Между Рождеством Христовым (7 января) и Крещением Господним (19 января) с древних времен отмечаются Святки (от слова «святить» — блюсти святость) — двенадцать святых дней, установленных церковью в честь памяти рождения Христа и крещения его в реке Иордан.

В эти дни запрещалось работать и сочетаться браком. Однако святость этих дней частенько нарушалась обычаями языческого праздника Коляды, славящего культ природы. Колядки, как и Святки, справляли в период зимнего солнцестояния. Смысл обрядов колядок заключался в том, чтобы урожай был хорошим, скотина плодилась, чтобы в доме были достаток и счастье, а самое главное — чтобы продолжалась жизнь. Этому и были посвящены колядные песни:






На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом —
Туда жито кустом.
Куда коза рогом —
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.





Христианская церковь безуспешно пыталась искоренить Коляду, но затем включила ее в Святки, противопоставив играм и обрядам Коляды славление Христа. В колядных песнях народ начал воспевать и Иисуса, события праздников Рождества и Нового года. А церковники стали сочинять книжные колядки — канты.

Обязательными атрибутами праздника были переодевания с использованием шкур, масок и рогов, колядные песни, игры и гадания и, конечно, колядование: шумной односельчане врывались в дома, пели, плясали, предлагали погадать. Хозяевам полагалось гостей без подарков и угощения не отпускать. За что ряженые сулили им благополучие и счастье, а вот скупым и жадным доставались нелестные пожелания:



Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст пирога,
Тому двор живота.
Кто не даст пирога,
Тому сивая кобыла
Да оборвана могила!



Так Святки стали объединением языческих и христианских верований, праздником, вобравшим в себя самые разные обычаи, обряды и приметы. Именно из язычества, например, сохранился обычай наряжаться на святки в смешные и грозные маски. Люди верили, что с Рождества до Крещения активизируются темные силы, и ряженые должны были отгонять зло, а затем в праздник Крещения смыть с себя скверну святой водой.


Двенадцать святочных дней закладывали основу грядущего года, поэтому Святки было принято проводить весело, в любви и согласии с близкими. Когда семья собиралась за столом, старшие вспоминали уходящий год — все хорошее и плохое, что в нем было. В конце трапезы остатки кутьи дети разносили дедушкам и бабушкам, а также беднякам, чтобы и они могли отпраздновать Рождество. В некоторых местностях еду и скатерть не убирали со стола до утра, чтобы души покойных предков тоже могли поесть.

Чего нельзя делать на Рождество и во время святок



В Рождество нельзя было ничего гнуть, плести или шить — это сулило беды в наступающем году. Остатки вечерней трапезы выносили за ограду — чтобы волки скотине не вредили. Есть пословица: кто в Рождество скотину забьет — тот через три года умрет, так что в сам праздник скот на убой не пускали. Грешно было и охотиться на святки на зверей и птиц.

Так же считалось плохой приметой давать в сочельник под Рождество займы что-либо, имеющее отношение к огню: спички, зажигалку, уголь, дрова и т.п. Деньги в долг тоже давать было нельзя — это



сулило жизнь в нищете. По той же причине воспрещалось мыть голову, стричь волосы, стирать, шить и прясть. Всю грязную работу к этому дню следовало закончить в Чистый четверг, а «кто в канун Рождества тягает грязь, тот за это весь год в ней будет сидеть».




За рождественский стол не следовало садиться в траурной (черной одежде), чтобы не накликать беду. 8 января воспрещалось покупать веревки, чтобы избежать в роду висельников, а также варить и есть кисель (чтобы не зазвать в дом покойника). 9 января, в третий день Рождества, до заката считалось очень плохой приметой рубить дрова.

Что нужно делать на Рождество и во время святок



Раньше накануне Рождества выносили и оставляли еду для нуждающихся людей или раздавали угощение: считалось, что так все умершие предки, не успевшие поесть перед смертью, утоляли свой голод. В той семье, где было много ссор и споров, женщины в Рождественскую ночь выставляли ведро на мороз, а утром ставили на огонь и приговаривали: «Лед растает, вода закипит, а у [имя] по мне душа заболит». Эту воду давали умываться мужу

или готовили на ней чай или суп, а также стирали в ней белье супруга. Считалось, что просить что-то у Бога в Рождество нужно семьдесят семь раз — тогда желание исполнится. А еще верили, что если в Рождественскую ночь высмотреть в небе летящую звезду и загадать желание, то оно обязательно сбудется.



Содержание

И. С. Шмелев. Рождество	3
И. С. Шмелев. Святки. Птицы Божьи	16
А. А. Фет. *** (Ночь тиха...)	28
А. А. Блок. *** (Был вечер поздний и багровый...)	29
А. И. Куприн. Чудесный доктор	30
А. И. Куприн. Елка в капельке	42
К. М. Фофанов. *** (Нарядили елку в праздничное платье...)	44
С. Я. Надсон. Легенда о елке	46
Н. С. Лесков. Христос в гостях у мужика	48
Н. С. Лесков. Лев старца Герасима	62
В. А. Никифоров-Волгин. Серебряная метель	74
П. В. Засодимский. В метель и вьюгу	80
Саша Черный. Рождественское	108
А. С. Хомяков. *** (В эту ночь земля была в волненьи...)	110
А. С. Грин. Новогодний праздник отца и маленькой дочери	112
О Святках и Рождестве	122



В ЭТОЙ КНИГЕ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ СВЯТОЧНЫЕ
РАССКАЗЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(И.ШМЕЛЁВА, А. КУПРИНА, Н. ЛЕСКОВА, А. БЛОКА,
САШИ ЧЁРНОГО И ДРУГИХ), ПОСВЯЩЁННЫЕ
ЧУДЕСНОМУ ПРАЗДНИКУ — РОЖДЕСТВУ.

*Прежде всего эти истории передают светлую и уютную
атмосферу семейного торжества. Помогают понять, что
настоящее чудо всегда прячется в нас самих. В новогодние
праздники и на Рождество, мы, как никогда, можем
прочувствовать это и поделиться чудом с другими.
Несмотря на сложности, герои святочных рассказов
не унывают, они добры к людям, любят свою семью
и искренне чтят святой праздник Рождества.*

ПОМИМО ЧУДЕСНЫХ РАССКАЗОВ, В КНИГЕ ЧИТАТЕЛЯ ЖДЁТ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА, НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
И УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ОТКРЫТКИ XX ВЕКА,
ПОСВЯЩЁННЫЕ РОЖДЕСТВУ.

ISBN 978-5-17-150554-7



9 785171 505547 >